

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

М. И. Черемисина

ЯЗЫК
КАК ЯВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
И ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ

Учебное пособие по курсу
"Общее языкознание"

Новосибирск
1998

М.И. Черемисина. Язык как явление действительности и объект лингвистики / Отв. редактор Н.Б. Кошкарева. Новосибирск, 1998. 128 с.

Пособие посвящено анализу разных сторон языка как объекта языкознания и семиотической системы, используемой людьми в целях общения. В каждой из пяти глав рассматриваются разные стороны языка: своеобразие лингвистики на фоне других наук, специфика владения языком по сравнению со знанием о нем, язык как первичное знание о мире и как объект исследования, язык как система знаков. Рассматриваются также вопросы о речевой деятельности и о письме как второй естественной семиотической системе, благодаря которой язык становится доступен научному изучению.

Предназначено для студентов и аспирантов разных филологических специальностей как пособие по курсам "Общее языкознание" и "Введение в языкознание".

Рецензенты:

д-р филол. наук, проф. Е. К. Скрибник,
канд. филол. наук А. А. Мальцева

Рекомендовано к печати кафедрой общего языкознания

© М.И. Черемисина, 1998
© Новосибирский государственный
университет, 1998

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое пособие представляет собой существенную переработку книги «Лекции по лингвистике (Язык. Речь. Текст)», изданной Новосибирским госуниверситетом в 1970 г. очень малым тиражом.

С тех пор прошло почти тридцать лет, за это время в науке появилось много нового, углубилось осознание знаковой природы языка, оно распространилось на все уровни языковой системы, включая синтаксис. Поэтому несколько изменился и общий взгляд автора на затронутые в пособии проблемы. Этому способствовал, конечно, и многолетний опыт чтения курса «Общее языкознание» на гуманитарном факультете НГУ и в некоторых других вузах.

Пособие ориентировано на широкий круг читателей, на студентов старших и младших курсов, аспирантов-филологов. В нем рассматриваются теоретические вопросы, связанные с языком как явлением действительности, которое непосредственно дано члену любого языкового коллектива, и с тем же самым языком, который выступает в роли объекта лингвистического исследования.

Ставится и обсуждается вопрос о существенных различиях между практическим владением языком как непосредственным знанием-умением и научным знанием о нем. Рассматриваются вопросы о специфике наблюдения в лингвистике, о роли текста в лингвистических исследованиях. Обсуждаются понятия языкового знака и его внутренней структуры, языка как системы знаков, речи как процесса общения. Заключительная глава посвящена второй семиотической системе – письму, показаны ее отличия от первичной системы – звукового языка, который по отношению к письму является объектом отображения.

ГЛАВА ПЕРВАЯ ЯЗЫК КАК ЯВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

§1. Язык как объект владения

Место лингвистики среди других наук

В общей системе наук лингвистика занимает особое, своеобразное место. Обычно ее относят к числу эмпирических наук, которые составляют подавляющее большинство областей научного знания.

Эмпирическими называют науки, которые в процессе исследования объекта опираются на **чувственный опыт** как на источник идей, понятий, получаемых знаний. Не возникает сомнения в эмпирическом характере биологии, физики, химии, геологии, астрономии. Но философия и математика к числу эмпирических наук не принадлежат, потому что у них нет эмпирического объекта, который они наблюдают, исследуют и описывают.

Эмпирические науки объектом исследования имеют определенную сторону действительности. Под словом **действительность** понимается обычно **объективная реальность во всей её конкретности**, то, что доступно объективному наблюдению, то есть восприятию органами чувств человека и их продолжением — приборами. Физические объекты: животные, растения, звезды, земная кора — и все связанные с ними процессы, безусловно, принадлежат реальной действительности, равно как и все артефакты, все, созданное руками человека.

Объективная реальность **противостоит**, с одной стороны, всему **кажущемуся, вымышленному и фантастическому**, но и всему возможному, вероятному, но пока ещё **не существующему**. С другой стороны, понятие «действительность» противостоит всему **логическому, мыслимому** (хотя бы это последнее и было совершенно правильно), например, нашим знаниям о той же «реальной действительности».

Соответственно такому пониманию, книга, которую мы держим в руках, принадлежит **объективной действительности**. Она существует вне нас и независимо от нашего сознания. Но мысли и знания, которые сначала существовали в сознании автора, а затем были «перелиты» им в текст и теперь могут быть извлечены из текста читателем, по-видимому, объективной действительности не принадлежат. Они принадлежат сфере сознания, то есть сфере **духовной действительности** человека и человечества, которая противостоит объективной действительности материального мира.

Что с этой точки зрения можно сказать о языке? В какой мере оправдано считать язык явлением действительности? Доступен ли он наблюдению с помощью чувств и приборов?

Скажем вначале «да». Ведь уже около четырех тысяч лет существует наука о языке, которая не могла бы существовать без опоры на наблюдение. Языковеды век за веком ведут свои наблюдения, слушая живую речь и читая написанные или напечатанные тексты. Ими разработаны специальные методы и приемы исследования. Но это только одна из сторон правды, и этого слишком мало, чтобы принять такой ответ без оговорок. Поэтому не будем спешить говорить «да».

Попробуем сказать «нет», ибо и в этом ответе заключена одна из сторон правды.

С помощью чувств: зрения, слуха — можно видеть говорящего человека и слышать, что он говорит; можно видеть книгу, напечатанные в ней буквы, из которых складываются слова, разделенные пробелами, и фразы, разделенные точками. Звучащую речь можно записать на магнитную плёнку, которую можно держать в руках, — это вещь; её можно прослушивать в разном темпе. Говорящего человека можно запечатлеть на видеопленке, а потом и слушать, и смотреть, как он говорит. Можно специально отснять движение его губ, его мимику в процессе речи. Можно привлечь рентгенографию, чтобы выявить положение языка и других скрытых от глаз органов речи при произнесении отдельных звуков, слов, фраз. Эти и другие, гораздо более сложные методики действительно применяются в экспериментальной фонетике.

Мы видим глазами написанный человеком текст. Можем его переписать, занести в компьютер, перевести на другой язык, декодировать сигналами азбуки Морзе или другими способами. Сравнивая графические значки, которыми исполнена запись, можем выявить полный их набор в тексте и судить на этом основании о типе письма — буквенное оно или слоговое. Но для того, чтобы проникнуть в смысл льющихся звуков или следующих друг за другом графических значков, нам не достаточно органов чувств. Мысли и знания таким образом наблюдать нельзя.

Из всего сказанного как будто бы ясно, что язык — это совсем не то, что говорение, и не то, что звучащая речь или написанный текст.

Говорение — это психофизический процесс. Внешнюю, «физическую» его сторону мы можем наблюдать, а психическая от нас скрыта. Говорить — это значит ставить в соответствие феноменам сознания, мыслям, феноменам материального мира — определенным образом организованные цепочки звуков. Можно, конечно, возразить, что сами феномены сознания — наши мысли, возникающие у нас об-

разы, эмоциональные переживания — производны от феноменов материального мира, то есть от вещей, от их признаков, состояний, от протекающих с ними процессов, от тех ситуаций, в которые они включены. В конечном счёте это, разумеется, так. Если бы не было окружающего нас мира, включая и нас самих как физических существ, было бы некому и не о чем говорить. Но в конкретном речевом акте феномены сознания можно считать исходными данными: ведь говоря о вещах, мы оперируем представлениями о них, часто обсуждаем между собой то, чего нет, а может быть, и никогда не было перед нашими глазами — их заменяют нам образы.

Мысль, так же как и сновидение, головная и зубная боль, ощущение голода, неотчуждаема от внутреннего мира человека, ее нельзя непосредственно, минуя язык, «передать» другому, «донести» до другого. Физические и психические ощущения каждый человек переживает только в самом себе и по своему опыту может судить о том, что чувствуют другие. Передать эти ощущения именно такими, какими мы их ощущаем, другому невозможно. Это можно сделать лишь с помощью языка, превращая их в мысль. **Язык обобщает индивидуальное, неповторимое и через слово возводит к общему:** «У меня *болит голова*» (или болит зуб, или сердце — а ведь все это разная боль) или «Вчера мне *приснилось* то-то и то-то». Но рассказ не воссоздаст самого феномена, которого «сообщить» нельзя.

Все эти переживания субъективны. **Язык же объективен.** Он существует **вне нас**, независимо от любого из нас, от наших сознаний и подсознаний. Но он существует **для нас** и в некотором другом смысле «**в нас**», в нашем сознании, поскольку он усвоен, воспринят нами от других членов нашего языкового коллектива, его предлагает само общество, в котором родился и воспитывается каждый из нас. Человек получает язык от общества в пожизненное владение. Покидая сей мир, он оставляет язык, как и всё земное, потомкам. Но овладеть языком, «принять» его от общества люди могут лишь благодаря тому, что язык **обнаруживает себя и живёт в чувственно воспринимаемой форме.**

Первичная, «естественная» форма существования языка — устная, звуковая. Звуки речи — искусственно создаваемые колебания воздуха — это колебания вполне определенного типа, лежащие, естественно, в диапазоне, воспринимаемом человеческим ухом. Дельфины, как известно, используют для общения колебания более высокого диапазона, которые нашему уху недоступны.

Опосредованно, **вторично язык существует в форме текстов,** выполненных графическими знаками, доступными зрительному восприятию. Письменные значки, ориентированные на зрительное восприятие, для незрячих перекодируются в знаки, воспринимаемые

осознанием. Язык может реализоваться и в форме электромагнитных колебаний, которые непосредственно улавливаются только приборами, а затем преломляются ими же в такую форму, которая доступна восприятию органами наших чувств (телефон, телеграф, радио).

Но всё-таки никогда, ни на миг мы не должны забывать о том, что язык — это не буквы, не звуки, не электрические колебания, а нечто совершенно, качественно иное. Он, как Уэллсовский «человек-невидимка», чтобы стать «видимым», надевает разные одежды. Сквозь эти одежды мы, языковеды, должны разглядеть скрытую за ними сущность, непосредственному наблюдению недоступную; мы должны понять, что мы знаем своим непонятным «знанием-умением», что скрыто от нас самих в нашей собственной черепной коробке.

Мы идём к этой цели, исследуя внешние проявления языка: и одного, родного для нас, и многих, разных, чужих языков, которые мы изучаем, одновременно овладевая ими — уже сознательно. **Внешним проявлением языка является речь, устная или письменная.**

Язык существует как единство мысли и звука. Существует как исторически сложившаяся и передаваемая от поколения к поколению система соответствий между смыслами и звучаниями, которую призвана изучать наука о языке.

Между феноменами мысли, смыслами, и акустической реальностью, звуками, нет и не может быть иных отношений, кроме отношений **соответствия.** Звуковые цепочки в каждом языке являются сигналами определённых смыслов — и только. Именно эти отношения и определяют собою собственную природу семиотического феномена «язык», лежащего на грани миров материального и духовного и составляющего как бы мост между ними.

Без чувственных посредников, поставленных в соответствие мыслям и доступных чувственному восприятию, мысль никогда не могла бы вырваться за пределы индивидуального бытия внутри «Я», приобрести тот специфический статус, который отличает её от ощущения. Даже сами эти слова — *мысль, сознание* представляются неуместными при таком допущении. Без чувственных посредников, позволяющих мысли «выйти наружу», она просто не могла бы родиться и быть. Не было бы ни мыслящего человека (увы, — далеко не всегда его можно назвать «разумным»...), не было бы и социального организма — общества.

Язык, таким образом, — это объект, недоступный непосредственному чувственному восприятию. Языки существуют в некотором ином, не «физическом» смысле и с помощью чувств и приборов не наблюдаемы.

Не значит ли это, что языкознание ошибочно причисляют к эмпирическим наукам?

Все-таки такой вывод безоснователен. Как раз в этом смысле языкознание не отличается от физики, химии, биологии. Когда мы говорим, что биология изучает растения и животных, мы подменяем указание на её научный предмет указанием на область её наблюдений. По сути своей современная биология – это наука о жизни, об управляющих ею законах. Но жизнь как таковую тоже ведь непосредственно наблюдать нельзя. Биологи наблюдают за тем, что живет, рождается, умирает. Физики наблюдают за тем, что и как движется, нагревается, пропускает ток, отражает лучи. Химики наблюдают за превращением вещества. Наблюдая за тем, как протекают реальные процессы, учёные выводят общие законы, управляющие этими процессами. Одновременно наш разум формирует такие абстракции, как *движение, жизнь, вещество, материя*. В этом же ряду стоит и *язык*.

Общее назначение всех эмпирических наук и состоит в познании законов, управляющих теми или иными процессами. Процессы эти всегда так или иначе доступны наблюдению, тогда как законы наблюдению не доступны. Они открываются не чувствам, а **интеллекту**, будь то законы движения небесных тел, развития общества или функционирования языка. **Законы природы, общества, языка не наблюдаемы, но они объективны – и познаваемы с помощью разума.**

Как биолог, чтобы узнать о жизни, наблюдает и изучает живое, так и лингвист, чтобы получить знания о языке, наблюдает и изучает – что?

Первый ответ, который обычно дается, – мы наблюдаем речь. В известном смысле это верно, но все-таки необходимо сделать существенное дополнение.

Подлинным объектом, который наблюдает лингвист, которым он оперирует, с которым экспериментирует, является текст. Звуковая речь имеет физическое существование, но звук существует лишь мгновение. «Удержать» его можно лишь с помощью специальных приборов, устройств, которые появились недавно и в лингвистических исследованиях играют лишь вспомогательную роль. Текст же – вполне надежный, устойчивый источник знаний о языке.

Создавая тексты, люди не только передают друг другу определенную информацию, но и конструируют те объекты, которые можно исследовать, открывая законы (закономерности), согласно которым функционируют языки и порождается речь, как письменная, так и устная.

Получается своего рода замкнутый круг, парадокс. Мы хотим **узнать**, что такое язык, как он устроен. Чтобы получить это знание, мы хотим **наблюдать** за теми процессами, в которых реализуется язык, и за результатами этих процессов, вполне доступными органам чувств. Но оказывается, что ни процессов, ни их результатов мы по-настоящему наблюдать не можем, если заранее не обладаем тем знанием, за которым охотимся, знанием данного языка.

На самом деле слова «знание», «знать» в этом рассуждении незаметно изменили свой смысл. Научное знание о языке, которое составляет цель лингвистического исследования, и «знание» языка говорящими на нем людьми – это глубоко разные вещи. И сейчас мы должны разобраться в том, что же представляют собой эти два вида знания: что именно и как именно мы «знаем», когда умеем говорить на некотором языке и понимаем чужую речь? И как «знание» языка его носителями соотносится с тем знанием **о языке**, которое в течение тысячелетий по крупицам добывала и добывает наука о языке?

Владение языком и знания о языке

Свой родной язык все мы знаем хорошо, но как-то совсем иначе, чем знаем, например, физику или математику, заканчивая среднюю школу. В школе всем предметам нас начинают учить с азов. Мы слушаем учителя, читаем учебники, запоминаем определения каких-то понятий, выводы, доказательства. Даже нерадивый ученик получает предметные знания довольно осознанно.

Особенность же языкового «знания» состоит именно в том, что никто из нас не знает, не помнит, как это случилось, что мы освоили родной язык со всеми его бесконечными правилами и исключениями. Мы не знаем, как к нам пришло это знание. И более того: никто из носителей языка не может даже сказать, в чем это знание состоит.

Такое практическое знание языка глубоко отлично от того, что мы обычно называем **знанием**. Да это и не знание вовсе, а **умение** – непосредственное **владение** языком. Его можно сравнить с владением собственным телом, – хотя это не более чем сравнение. Умение правильно говорить на родном языке неотделимо от представления о человеке как о полноценном члене общества, точно так же, как владение телом, умение ходить на двух ногах, пользоваться руками, дышать неотделимо от представления о здоровом, биологически нормальном человеке.

Именно поэтому мы и не знаем, не помним того, как мы овладели родным языком, что именно узнавали и усваивали. Ведь эти процессы происходили до того, как мы стали разумно мыслящими существами, до того, как установилось наше сознание. Эти процессы про-

текали без участия сознания — или без осознания. Знание, полученное таким путём, не опосредованное сознанием (осознанием), не рефлектируемое, можно назвать **непосредственным**.

Владение языком — это знание=умение особого рода, не такое, как знание математических правил, физических законов, биологического строения организмов. Но как бы сильно ни отличалось оно от других наших знаний и умений (например, от умения вязать, завязывать шнурки и галстук, солить грибы, складывать печки, играть на мандолине и др.), всё-таки оно принадлежит именно роду **знаний**, а не роду **вещей**. А знание, каким бы оно ни было, естественно мыслится нами в соотнесенности с нашим **духовным миром**, внутренним «я», куда вместе с сознанием входит и подсознание, ведающее навыками и умениями, до которых собственно сознанию часто нет никакого дела.

Но термин *сознание* можно, мне кажется, употреблять и в расширенном смысле, включая в него сферу навыков и умений. Это то пространство, в котором мы размещаем и мысли, и сновидения, и чувства, и знания, и умения, и воспоминания, и мечты, и вымыслы — всё, что не принадлежит объективной реальности в том смысле, как это понятие было определено в философском словаре. Умение говорить также принадлежит духовной сфере, а не объективной действительности.

Это так, но это тоже еще не вся правда. Ведь сам язык, обслуживающий человеческое общество в качестве средства общения, связывающий отдельных людей в единый человеческий коллектив, не мог бы существовать, не будь у него другой стороны.

Каким бы непосредственным ни было языковое знание (владение языком), оно по необходимости остаётся знанием **чего-то**, владением **чем-то**. И если носитель языка не знает, **что** же он знает, зная родной язык, то объяснить ему это призвана наука о языке.

Предмет, объект и задачи лингвистики

Задачу, которая стоит перед этой наукой, я в самых общих словах сформулировала бы так: **узнать и объяснить** нам, **что же мы знаем** этим непосредственным знанием, **что необходимо знать и уметь, чтобы правильно пользоваться языком**. Конечно, задачу языкознания можно формулировать и иначе, и строже, специальное, представляя её как сложную систему задач, но в данном контексте важнее именно эта, самая общая формулировка.

Предмет языкознания — это не само умение говорить и понимать речь, принадлежащее индивиду и нерасторжимо связанное с индивидуальным сознанием. Этот предмет составляет то **общее**,

что должны знать=уметь все члены данного языкового коллектива, чтобы говорить и понимать друг друга.

Язык как **объект** нашей науки — это общее, единое сокровище, которым владеет каждый народ, каждый этнос как единое целое. Это достояние передается от поколения к поколению, из века в век, расходясь, но не уменьшаясь, а только постепенно прирастая, обогащаясь. Постижением природы языка, «языкового кода», и занимается языкознание.

Таким образом, язык, составляющий объект и предмет языкознания, — это **не реальная действительность** в указанном выше смысле; это **не материя**. Но это ни в коем случае и **не феномен индивидуального сознания**, подобный промелькнувшей у меня или у вас мысли, сновидению или грёзе. Язык — это **естественно возникающая семиотическая система, система знаков**, существующая не для индивида, а для общества, социума.

Языков на Земле очень много, и все языки устроены по-разному. И перед наукой о языке стоят в связи с этим две взаимосвязанные, но разные задачи. Одна из них заключается в том, чтобы познать, описать, зафиксировать каждый язык и диалект в его особенности, неповторимом своеобразии. На исходе двадцатого века кажется неизбежным значительное сокращение общего числа языков на Земле в относительно недалеком будущем. Языки малых народностей, насчитывающие от нескольких сотен до нескольких тысяч носителей, можно думать, вольются в более крупные, примут их языки, а их собственные языки либо получат статус диалектов или вообще перестанут существовать. Это делает особенно острой именно в наши дни задачу описания этих уходящих языков, занесенных в «Красную книгу» (хотя «Красная книга» исчезающих языков нашей страны на самом деле «желтая»: ее выпустили в обложке желтого цвета).

Второй, и не менее важной и ответственной задачей лингвистики остается всегда познание «языка вообще», «человеческого языка», то есть того общего, что присуще всем человеческим языкам и что может и должно быть отнесено к понятию о «языке людей» в целом. Язык есть орудие не только общения, но и познания окружающего нас мира, и это свойство равно принадлежит всем языкам. Все языки, хотя в разной мере и степени, взаимно переводимы. Эта единая общая сущность всех реально существующих языков, используемых в человеческом обществе, позволяет осмыслить их как один объект — «язык человечества». Увидеть общее, свойственное всем языкам, и специфическое, различающее разные типы языков и разные языки внутри каждого типа, — задача не менее важная, чем описание конкретного языка.

§2. Язык как первичное знание о мире

Лексический фонд как кладовая знаний

Владение языком, умение говорить и понимать речь – это первичное, непосредственное знание=умение человека как разумного члена общества, как Homo sapiens'a. Но теперь посмотрим на язык с другой позиции: не с позиции отдельного человека, которому общество предлагает готовый язык, но с позиций социума, человеческого сообщества, являющегося творцом и подлинным хозяином языка. Непрерывный во времени человеческий коллектив создавал язык начиная с незапамятной древности, пронёс его через тысячелетия и сейчас продолжает шлифовать и оттачивать его в процессе использования.

Язык часто называют орудием и средством познания. Это верно, если смотреть вперёд, в будущее. Но если оглянуться назад, язык предстанет перед нами как **итог познавательного процесса**, как спрессованное давлением тысячелетий **первичное**, самое фундаментальное **знание**, добытое, отвоёванное у тьмы ценою миллиардов жизней всех наших предков.

Говоря о роли языка в процессе познания, самые разные люди, в том числе и филологи, обычно выдвигают на первый план тот несомненный факт, что основную массу знаний мы получаем с помощью языка. С раннего детства родители отвечают на возникающие у ребёнка вопросы, рассказывают ему, читают книги. В школе он слушает систематические рассказы учителей, а научившись читать, сам извлекает знания из книг, круг которых становится все шире. Когда человек выбирает профессию, он приобщается к специальной литературе, осваивает специальную, профессиональную терминологию, круг его чтения несколько меняется, специализируется. Но есть еще радио, кино, телевидение, театр, лекции, да и просто повседневные разговоры. Поток разнообразной информации, которую мы поглощаем ежедневно, в огромной части вербален. Без языка его не могло бы быть.

Все это так. Но все-таки подобное понимание природы познавательной функции языка упрощает эту функцию и искажает положение дел. Язык предстает здесь лишь как **средство передачи, трансляции знаний от одного человека или коллектива к другому**. Само же знание выглядит как нечто относительно независимое от языка. Такому представлению сильно способствует и то, что актуальное для общества знание хранится в книгах, а не передается устно, а также и то, что содержащее знание тексты относительно легко переводятся с языка на язык. Тем самым знание как бы утрачивает свою «привязанность» к определенному языку. Сказанное

Аристотелем или Конфуцием доходит до наших современников на их родных языках, и Достоевского, Голсуорси, дю Гара и Манна большинство людей узнает в переводах, на своем языке.

Конечно, эта роль языка как посредника в передаче и распространении новых знаний очень важна. Но все-таки сейчас нужно попытаться отвлечься от нее, «вынести ее за скобки» и сосредоточить внимание на том, что, помимо текстов, **сам по себе язык есть особая форма существования знания**.

Может быть, на первый взгляд это покажется странным, но **вся та информация, которую можно выразить, передать при помощи языка**, написать в книгах и высказать устно, вся информация, заключенная в собрании Ленинской библиотеки, которую новые открытия сулят свести к электронной записи объемом в стакан, **несопоставимо мизернее той информации, которую каждый язык заключает в самом себе**.

В языке, в его словаре и грамматике, фиксируются, хранятся и передаются потомкам все достижения познающей человеческой мысли, наблюдений и опыта поколений предков. Особенно наглядно в этом смысле лексический фонд языка. Но, чтобы почувствовать и понять значение словаря как хранилища знаний, необходимо отказаться от упрощенного представления об отношениях слова и «вещи» как обозначающего и обозначаемого.

Вещь я понимаю сейчас в самом широком смысле: это и живые существа, и совокупности (*лес, общество*), и части предметов (*острие, конец и начало, щека*), и абстракции (*любовь, красота, образование, злоключения*); это и действия, называемые глаголами, и признаки, называемые прилагательными, наречиями, и отношения, называемые служебными словами: *потому что, по сравнению с тем как* и т.п. Объектом непосредственного познания средствами языка являются также разнообразные отношения, которые фиксируются не только словами, но и качественно иначе – грамматическими формами слов.

Отношения между словом и «вещью», словом и его означаемым, гораздо сложнее, чем это кажется. Упрощение, которое я имею в виду, состоит в том, что многие люди представляют себе слова, имена наподобие этикеток, которые по традиции каждого данного языка очень прочно связаны с соответствующими вещами. Например, словом *кушетка* называется один из видов мебели для лежания. Это слово вместе с вещью было заимствовано из Франции. Войдя в русский язык, оно заняло свое место среди других слов с близким значением. Оно обозначает предмет, по функции четко противопоставленный *кровати*: *кушетка* предназначена скорее для сидения, хотя на ней можно и прилечь. От *тахты* она отличается

миниатюрностью, отсутствием подушек, от дивана — отсутствием спинки и валиков.

Каждое слово включает в себе целый набор признаков, с помощью которых мы выделяем вещи именно данного типа: *контактные линзы, очки и пенсне; яблоко и ранетка; флакон, пузырек и бутылка; форточка и окно*. Сформулировать значение какого-либо слова, например, *форточка*, часто бывает трудно. Но тем не менее мы знаем, хотя и не вербально, что это такое, и на просьбу открыть форточку реагируем действием.

Остановимся сейчас на самом простом и наглядном — на именах существительных, ближе всего соответствующих представлениям о вещах в широком смысле термина.

Кажется естественным думать, что слова как названия вещей существуют, когда существуют обозначаемые ими объекты, «вещи», тогда как существование вещей не должно быть обусловлено существованием слов. Например, в самых глубинах Тихого океана миллионы лет может существовать ещё не открытый людьми — и потому безымянный — вид животных — не рыб, не моллюсков. Однако «неоткрытые» вещи остаются «вещами в себе»: пока они не «открыты», они не существуют для нашего сознания, они — непознанное. То, что они были неизвестны людям и в наших языках не было для них никаких имен, на их существовании не отражалось никак. Но вот их открыли — и, чтобы поведать о них миру, нужно найти слова.

Существующими для сознания вещи становятся благодаря именам. А наречение, присвоение имени — акт глубоко творческий. Он всегда завершает собою некий акт познания. Ведь в названии всегда фиксируется какой-то признак обозначаемой вещи, показавшийся важным. Может быть, дальнейшее овладение вещью покажет, что выбранный признак не особенно важен, но имя останется и своим звучанием, своей внутренней формой будет напоминать потомкам о том, с какой точки зрения когда-то предки увидели эту вещь, под каким углом пытались ее понять.

Все знают, что всякое слово **обобщает**, что в языке есть только общее. Слова именуют не отдельные вещи, а множества, классы вещей, выделенные по каким-то признакам. Философы древности спорили о том, в каком смысле существует *дом вообще* и в каком — *этот дом*. Я хотела бы привлечь внимание к тому обстоятельству, что сама возможность этого спора уходит корнями в язык. Ведь именно язык предлагает нам абстрактное, обобщенное представление о доме вообще: именно оно, такое представление, мы называем значением слова *дом*. Оно обязательно должно присутствовать в сознании, жить в языковой памяти носителей русского языка, чтобы они понимали, что имеется в виду, когда произносится это слово.

А существует ли это представление, эта идея *дома вообще*, до и независимо от слова *дом*?

Я думаю, что не существует. Это представление возникает, складывается, формируется и развивается вместе со словом, которое дает ему толчок к существованию. Ведь речь идет об обозначаемом знаке, о его десигнате. Разве десигнат может быть без знака?

Сравним, например, ряд слов — названий жилищ, сформировавшихся в разных культурных мирах: *дом — изба — юрта — чум — сакля — фанза — вигвам — дворец — замок — небоскреб*. За каждым из них отчетливо видится своя идея, свой образ. Такие слова взаимно переводимы — и то довольно условно — только в рамках однотипных культур: нем. *Haus*, англ. *house*, франц. *maison*, русск. *дом*.

Слово — это единство звучания и значения, смысла. Если наметился только смысл, то слова еще нет, точно так же, как нет его, если есть только звучание. Эти две стороны слова рождаются одновременно, «лепятся» друг к другу с двух сторон, склеиваются. Потребность что-то назвать зовет навстречу себе — ещё не непосредственно звуки, но как бы «кусочки смысла», уже связанные со звуками: корни слов, аффиксы. Потребность назвать переходит в мысль — в поиск признака, по которому можно назвать. И встречно подсознание выдает звучания, связанные с избранным признаком. На стыке этих разноприродных сторон рождается новое звучащее слово, значение которого и есть общая идея о данном роде вещей, о данной «вещи вообще».

Ни в одном языке нет, наверное, такого слова, «на доньшке» которого не таился бы его сокровенный смысл, идея, от которой оно родилось, — как бы далеко ни ушло оно в современном значении от своего истока. Так, например, франц. *écrire* и нем. *schreiben* «писать» восходят к латинскому *scribere* «писать»; в русском есть слово того же корня — глагол *скрести* (ср.: *скребу*). Эти слова ясно показывают, какова была первичная техника письма у римлян и как далеко в наши дни ушли от нее цивилизованные народы. История слов, их звучаний и значений — это одновременно и история культуры, и история самой мысли. Мы видим и можем прочувствовать, как возникала «идея» — *писать, писание*, и как прочно в истоке своем она была связана не с интеллектуальным, как сейчас, а с физическим действием: с выцарапыванием, выскребанием надписей на твердом материале.

Но имена получают не только те вещи, которые существуют. Несуществующее тоже может быть и бывает номинировано. Мы сейчас не верим в существование русалок, леших, гномов и эльфов, вурдалаков и ведьм, но вполне понимаем, какие представления стоят за этими словами. Большинство людей представляют себе лешего и

ведьму гораздо отчетливей, чем брамина, дервиша, ихтиозавра, скунса и боа-констриктора, в существовании которых — где-то там, далеко во времени и пространстве — люди не сомневаются. Язык откликается на призыв мысли, верна она или нет. Он именует не вещи, а наши мысли о них: что есть в мысли, то есть в языке.

Никакой, даже самый культурный, одаренный, развитый человек не использует всех слов и форм, которыми располагает язык его народа. Словарный состав таких языков, как русский, английский, французский, испанский, немецкий, насчитывает порядка миллиона слов. Но значительную часть этого фонда составляют слова специальные: термины разных наук, промышленных технологий, различных специальных родов и видов деятельности. Врач активно использует одни слова, инженер-химик другие, учитель третьи, слесарь четвертые; парикмахер, товаровед, актер, портниха — у каждого есть свой профессиональный словарный запас.

Словарь бесписьменных языков и диалектов, принадлежащих небольшим народам, находящимся на относительно низком уровне культурно-исторического развития, составляет от нескольких десятков тысяч до нескольких тысяч слов.

Активный словарный запас отдельного человека может варьировать в диапазоне от 40-50 до 2-3 тысяч слов, а если вспомнить словарь Элочки-людоедки, то и еще меньше. Ребенок в нормальной городской семье к началу школы накапливает запас 4-5 тысяч слов, а заканчивая школу, располагает уже 10-12 тысячами. Во всем наследии Пушкина было использовано около 22 тысяч слов. В языке Шекспира около 25 тысяч слов. Словарь Толстого, Достоевского полностью не учтен, возможно, там окажется до 35-40 тысяч. Но несмотря на все эти серьезные количественные различия, и словарь одного ребенка, и словарь большого народа обладают исключительно важным свойством, которое я назову **целостностью**: большой или маленький, он всегда **полностью** покрывает всю без исключения сферу познанного своего носителя, будь то человек или народ.

Попробую пояснить это сначала на примере идеолекта, «языка» каждого из нас. Спросим каждый себя: часто ли в прожитой жизни, уже став взрослыми, мы оказывались в недоумении, как назвать что-то, с чем мы столкнулись впервые? Увидели нечто — и осознали затруднение... И по зрелом раздумье делаем вывод: да, этого не было в моем опыте, и в моем языке нет слова, чтобы «это» назвать.

Возможно, такие ситуации были, — исключить этого нельзя. Но твердо можно сказать: это было редко. Может быть, несколько раз за всю жизнь — если жизнь не забрасывала нас в какую-то совсем необычную ситуацию. Но даже в таких случаях в резерве у говоря-

щих всегда есть возможность описательных выражений. М.Ю. Лермонтов в «Герое нашего времени» описывает музыкальный инструмент черкесов, избегая непонятных русскому читателю слов: «что-то вроде нашей балалайки»...

Конечно, в детстве, когда словарь только еще формируется, ситуация столкновения с неведомым, безымянным естественна; но когда мы вырастаем, нам в обычной жизни всегда хватает тех слов, которые мы знаем. Это не значит, что словарный запас не растёт. Понемногу он прирастает всю жизнь. Но обычно новые «идеи», представления приходят к нам вместе с звучанием: мы знакомимся с вещью — и сразу же с ее именем; встречаем в книге или слышим в беседе новое слово — и из контекста, иногда через вопрос, схватываем связанную с ним идею.

Когда мы говорим: «У меня нет слов, чтобы выразить...» или «Я не могу тебе передать, что я испытала в этот момент», — это совершенно другие ситуации, которые достаточно адекватно описываются именно этими выражениями.

Словарь языка я могу сравнить с плотной, местами многослойной и совершенно прозрачной хрустальной сферой, которая окружает нас со всех сторон. Она состоит из «кусочков» — слов, связанных между собой сложными, разнообразными отношениями типа разноплановых ассоциаций: по нашему зову приходит одно, оно влечет за собой другие, между которыми мы делаем выбор, строя фразы. И если точного слова в нашем словаре не нашлось, его заменяет другое, может быть, родовое, может быть, близкое, к которому мы добавим еще что-то.

Очень важным свойством слова мне представляется его **готовность расширять область своего значения**. Каждое слово имеет одно или несколько постоянных значений, которые в словарях даются под номерами. Но все значения многозначного слова тесно связаны, переплетены между собой, все они, как ветви куста, идут от одного корня, смысл которого часто скрыт под землей. Живое слово в контексте, в конкретной ситуации может выразить гораздо больше, чем можно предположить, основываясь на словарной статье. С одной стороны, слова, подобно пехоте, ведут осадную войну за новые реалии (подобно русскому слову *перо* — *гусиное, металлическое*); с другой стороны, они, подобно парашютистам, перелетают границу и метафорами «опускаются» на объект, казалось бы, очень далекий от обычной зоны их действия. Вспомним названия животных, так широко используемые в русском языке для характеристики разных типов людей.

Все, что было и есть в опыте, что проходило когда-то через сознание творцов и носителей языка, — все это зафиксировано в словах

и сочетаниях слов, в устойчивых выражениях, в моделях и грамматических схемах языка. А того, что не проходило через сознание человека или коллектива, чего никогда не было в их опыте, того нет и в его языке. Так, для среднего русского человека лет десять-пятнадцать назад не было интернета, грантов, компьютеров – не было и потребности в этих словах. Только когда новое появится в опыте, возникает потребность его обозначить – и родится новое слово, значение или выражение: *аэроплан, метро, пенициллин, капрон, шариковая ручка, спутник, компьютер, лазер, лимитица, мануолог, риэлтер...*

Обозначить – это значит, пускай наскоро, начерно, но понять, осмыслить и выразить «идею» в звуках, за которыми она будет существовать как живая мозаика смыслов. Слово ляжет в язык, найдет в нём своё место, свяжется разными нитями со множеством других слов, встроится в тематическую группу, станет синонимом одних, антонимом других слов; у него возникнут омонимы и паронимы; к нему можно будет подобрать рифмы и эпитеты... И так оно будет передаваться потомкам из рода в род. Было когда-то гусиное перо, которым писали. Потом появились карандаш, ручка-вставочка – уже с металлическим пером, потом ее заменила самописка, авторучка – перьевая, потом шариковая, а потом гелиевая; появились фломастеры, маркеры... Параллельно создавались пишущие машинки, механические, электрические, а теперь компьютеры... Каждый новый объект отличается от предыдущего – но слово несет в себе этот признак – орудие письма, пусть не всегда отчетливый для говорящих.

Язык называют «мудростью поколений», «сокровищницей», «кладовой знаний и опыта». Мы привыкаем к этим выражениям как к стертým метафорам, но редко даем себе труд вдуматься в подлинный, совершенно прямой, а вовсе не метафорический их смысл. Для этого действительно надо сделать усилие, потому что этот прямой смысл не лежит на поверхности. Человеку, который уже владеет языком, не просто трудно – почти невозможно представить себе, что это для него значит, что дает ему язык. Ведь для этого надо вообразить себя безъязыким. Мир предстанет тогда поистине страшным, подобным Хаосу, который, по представлениям греков, предшествовал сотворению того понятного мира, в котором жили они и живем мы.

Именно благодаря языку всё вокруг нас оказывается расклассифицированным, разложенным по полочкам нашего интеллекта и снабженным словесными ярлычками. Мы идем по улице, говорим о своих делах или молчим, глаза автоматически скользят по предметам и лицам вокруг, уши воспринимают и привычно просеивают шум. В сознании могут не проходить никакие с л о в а. Но в подсоз-

нании все время протекает классификаторская работа, анализ восприятий, опирающийся на слова. Связь, которая соединяет представления со звуками именующих их слов, чрезвычайно прочна. Поэтому на всякую вещь мы автоматически реагируем словом, оно «выплывает» навстречу вещи из глубин подсознания и ждёт у порога сознания. И так же «по команде слова», услышанного или прочитанного, является образ вещи или процесса, признака, отношения.

Освоение языка

Связи между словом и «вещью», конечно, не врожденные. Ребенок рождается с предрасположенностью к восприятию и освоению любого человеческого языка и воспримет тот или те языки, на которых будут говорить вокруг. Это может оказаться совсем не тот язык, на котором говорили его бабушки и дедушки или даже родители. Когда мы приходим в мир, мы оказываемся примерно в том же положении, в котором были наши бесконечно далекие предки, только начинавшие создавать язык. Но вокруг ребенка все-таки есть старшие, которые окружают его с момента рождения. От них он воспринимает язык в уже готовом виде, а не творит его заново.

Впрочем, и перенять готовый язык – задача исключительно сложная. Настолько сложная, что она, по-видимому, посильна только новорожденному ребёнку. Приходится допустить, что интеллект новорожденного настолько активен, а инстинктивная, генетически заложенная интенция к постижению речи настолько сильна, что он оказывается в состоянии совершить невозможное. Так же, как травинка, которая вздыбливает и пробивает асфальт.

Слушая звучащую речь и наблюдая, к чему относятся звуки, что происходит в связи с каким-то звучанием, ребенок научается постепенно соотносить звучания и идеи, то есть представления о действиях и вещах, а потом и о признаках и отношениях. Он осваивает и грамматические формы. Изменения звукового облика слов ведут его к познанию тех абстрактных мыслительных категорий, которые составляют смысловую сторону языковых форм. Взрослые люди разных специальностей думать не думают об этих категориях и их смыслах; языковеды бьются над ними, пытаются осмыслить их и описать в терминах своей науки, специально для этого созданных и отшлифованных. А ребенок в определенном возрасте «проходит» через живое восприятие и прямое понимание этих форм – чтобы затем перейти к автоматизму речи и навсегда забыть, что и как с ним происходило, когда он овладевал языком.

Попробуем на минутку вернуть себя в положение такого ребенка. Начало третьего года жизни. Малыш начинает впервые осознанно говорить: «Сиди! Сижу. Киса сидит». Кроха освоила такую сложней-

шую вещь, как классификация социальных ролей в структуре коммуникативного акта!

«Сиди!» – значит, действие должен выполнить адресат речи; «Сижу», – действует сам говорящий; «Киса сидит», – кто-то третий. Это свидетельство того, что ребёнок постиг различие между не называемыми участниками речевого акта («ты» и «я») и предметами, не участвующими в этом акте. Конечно, ребёнку ни к чему учёные термины, но суть дела он схватывает не хуже, а лучше лингвистов. Или другой пример. Двухлетняя девочка рассыпала карты, потом подняла их и сказала: «Катя собирала карты». Она еще не ощущала тогда различия между своим действием и чужим, между действием, целиком отошедшим в прошлое, и таким, результат которого важен для настоящего. А это значит, что для неё ещё не было прошлого и будущего в их отличии от настоящего: она вся была в настоящем, двигаясь в нем. Но прошло короткое время, и в ее речи стала прорисовываться временная перспектива: появились сначала «вчера» и «завтра», затем стали различаться грамматические лица, противопоставились имперфективные и перфектные употребления глагольных временных форм. Конечно, это важный этап в формировании самой личности, самого сознания. А позже придут синонимы, станет вопрос об оттенках смыслов, о производстве, происхождении слов.

Пока ребёнок не овладел родным языком, он ещё не является человеком в социальном смысле, не является членом какого-то человеческого коллектива, потому что всякий коллектив базируется на взаимопонимании и общении. Без помощи языка человек не смог бы осознать себя как личность, не приобретал бы знаний в общепринятом смысле, в частности профессиональных.

Если же в силу каких-то причин человеческое существо не получило, не смогло принять от общества язык, оно остается за рамками человеческого коллектива. Его отличает от людей не количество знаний, а отсутствие способности их приобретать и удерживать, отсутствие тех способностей, которые мы обозначаем термином *интеллект*. Подтверждением этому служат судьбы «маугли» – не сказочного Маугли английского писателя Д.Р. Киплинга, а реальных детей, выросших среди зверей, а не среди людей. Относительно достоверные сведения, насколько мне известно, имеются о судьбах семнадцати или восемнадцати детей, которые выросли безязыкими и неразумными, неспособными войти в контакт с другими людьми. Они не только не стали членами какого бы то ни было человеческого коллектива, но даже не смогли прижиться в нем – почти все они быстро погибли.

Много данных свидетельствует о том, что примерно к пяти годам способность овладевать первым, родным языком, не востребованная до этого срока, иссякает.

Лев Толстой, который помнил себя с очень раннего возраста, говорил, что его восьмидесятилетнего от него пятилетнего отделяет один только шаг. Но между ним пятилетним и им же двухлетним лежит непроходимая бездна. Этот образ совершенно точен, в нем нет ни капли гиперболы. К пяти годам, овладевая основами языка, человек становится человеком – говорящим и мыслящим существом, способным вступать в контакт с подобными ему членами общества.

Между малограмотным или совсем неграмотным человеком и человеком с высшим и сверхвысшим образованием большая разница в информированности о мире, в количестве приобретенных знаний. Но их объединяет общее несопоставимо более важное качество, состоящее в том, что оба они – носители интеллекта, способные мыслить, рассуждать, приобретать новые знания. Они люди, члены человеческого сообщества, и в этом качестве равны друг другу.

Язык – компрессированное знание о мире

Представление о том, что в языке есть только общее, когда оно ложится на готовое, сложившееся, взрослое владение родным языком, теряет половину своей истинной глубины. В пояснение этой мысли обычно легко ссылаются на разнообразие вещей, включаемых в любой класс. На экзаменах неизменно повторяется один и тот же вечный пример: «Слово *стол* обобщает, потому что оно подразумевает большие и маленькие, круглые, овальные, письменные, обеденные и другие столы». Это верно, но мне всегда хочется отсечь завершающее слово *столы*.

Запрет, наложенный на употребление в ответе того слова, о котором задан вопрос (сейчас это слово *стол*), помог бы, мне кажется, почувствовать, насколько само обобщенное представление привязано к этому слову. Без него все множество «этих штук», на которых мы пишем или едим, круглых, прямоугольных, маленьких, больших, дубовых и пластмассовых, распалось бы, перестало бы быть «одним и тем же» для нашего сознания, подобно тому как предстают *стул, кресло, табуретка, пуфик, козетка* и др. Все названные предметы мы видим как разные.

Ещё один такой же банальный пример – цвета. Белый – мел, молоко, сметана и снег, простыня и потолок. Красный – флаги, кровь, клубника, малина. Зеленое – листья, трава. Голубое – небо; но оно бывает и серым. Одежда бывает самых разных цветов. Но войдём в положение ребёнка. Он должен научиться правильно называть цвета. Но ведь тем самым он должен научиться их различать! Научиться видеть различия! Определённым образом воспитать свои глаза и

свой мозг. Это язык приказывает ему – различать цвета, но при этом отождествлять разные оттенки одного цвета. Вот досюда – синее, а отсюда – уже голубое, а отсюда – лиловое...

Спектр – это континуум, в нём нет «отдельных» цветов, нет границ. Но чтобы говорить, различать цвета, границы провести необходимо, и разные языки делают это не одинаково. Даже в европейских языках эти границы не вполне унифицированы – так, граница между синим и зелёным в немецком по сравнению с русским несколько сдвинута в сторону зелёного. Хантыйский язык вообще не различает эти два цвета, для их обозначения есть только одно слово – *вусты*. В алтайском языке фиолетовый не выделяется, не обозначается как особый цвет. В русском ведь тоже оранжевый и фиолетовый – не исконные слова. Пока слова *лиловый*, *сиреневый* не вошли в русский язык, эти цвета приравнивались к *серому*. Моя деревенская тетушка делила сирень на серую и белую. Сколько же раз о цвете разных вещей должен услышать ребёнок, чтобы усвоить, в каких точках континуума проходят границы между *коричневым* и *жёлтым*, *оранжевым* и *красным*, *зелёным* и *жёлтым*, *жёлтым* и *рыжим*?!

Этот вопрос относится не только к цветам, но решительно ко всему: *блюдец – тарелка – мисочка – таз...*; *трусики – штанишки – колготки – рейтузы...*; *носки – гольфы – чулки...*; *кофта – плащ – жакет – пальто – шубка...* Всюду, за каждым словом – идея, представление, образ, противопоставленный другой идее, другому образу, за которым другое слово. Но между этими представлениями так много общего, что остро необходимо уловить дифференцирующие их признаки: *кресло* мягкое с подлокотниками, а *стул* нет; *табуретка* тоже нет, но она и без спинки; *диван* – как кресло, но он для многих, а кресло для одного; *скамейка*, *лавка*, *лавочка* – тоже для многих, но деревянная и на улице, а диван дома...

Взрослый не знает, не помнит всех этих признаков: он забыл их, «сдал в архив», когда его владение речью стало автоматическим. На этом этапе у него сформировались уже такие представления, – они называются десигнатами слов, – в которые как-то встроены все эти дифференциальные признаки, и живая память может освободиться от этого груза. Но ребенок должен еще пройти этот путь, узнать объем и границы каждого слова, сформировать эти образы-десигнаты. И он решает эту задачу, иногда спрашивая, а чаще слушая и догадываясь, пробуя, ошибаясь: «Были раньше первобытные люди, а мы каковы?». Учитывает поправки старших и снова дерзает, ошибаясь, – и так до пяти лет.

Кто, когда и зачем придумал, что если с блюдцем – то это *чашка*, а без блюдца – *кружка*; что стеклянная, на тоненькой ножке – *рюмка*, *бокал*, *фужер*, а без ножки – *стакан* (или *стопка*)? Так принято го-

ворить по-русски, это надо запомнить. У каждого языка – свои причуды. Но главное не в этих причудах. Самое главное в том, что за формулой «это называется так-то» всегда стоит утверждение о том, что «между этим и тем», другим, усматриваются различия, значимые для носителей этого языка.

А с точки зрения человечества, человеческого разума как такового значимо вовсе не то, как именно русский (или татарский, или самский) язык проводит границы между видами мебели для сидения, или между сосудами для разных напитков, или между цветами, между разными видами снега, ветров или песков. Все это очень важно, чтобы правильно говорить на некотором языке. Но гораздо важнее тот факт, что любой язык ставит нас перед необходимостью и одновременно дает нам возможность представлять континуум мироздания как дискретное множество разных вещей, которое поддается упорядочению при помощи системы идей, являющихся значениями слов.

Эту задачу решает каждый человек, овладевая первым, родным языком. Соответствующая способность видеть мир через слова остается пожизненно, это необходимая компонента того качества, которое мы называем разумом. Овладевая вторым, пятым, пятнадцатым языком, мы вбираем в себя другие системы, другие возможности членения мира, но первый язык потому и называется родным, что именно он становится нашими естественными «умственными очами». Тот тип членения мира, который предлагает нам он, остается для человека самым естественным и простым.

Люди, владеющие лишь одним языком, не изучавшие никаких других, не говорящие, не читающие на них, – монолингвы, – обычно с трудом представляют себе, что можно не различать того, что различает их язык, и зачем различать то, чего он не различает. Например, русские монолингвы естественно различают грамматические роды, и им странно, что англичане в формах глагола не различают пола лица. Зато как трудно дается даже русским освоение рода в немецком языке. В нем, как и в русском, различаются три рода, но границы между ними проведены совершенно иначе, например, нем. *der Kugelschreiber* 'авторучка' – мужского рода, тогда как в русском женского; *die Mine* 'стержень' – в немецком женского, а в русском мужского; *das Mädchen* 'девочка' в немецком среднего, а в русском женского.

Каждый язык – особая, отличная от других система представлений о мире как о расчлененном множестве последовательно противопоставленных объектов. Каждый осознанный и выделенный словом или формой «кусочек действительности» какими-то признаками противостоит множеству других, в данной системе смежных с ним

«кусочков действительности». В данной системе – потому, что само выделение этих «кусочков» как особых, отдельных обусловлено их соотносённостью со знаками этого языка.

Уникальная призма родного языка стоит между человеком и миром с самого начала разумного существования человечества, с момента, когда каждый индивид входит в мир. Поэтому мы не замечаем ее и можем прожить всю жизнь, не догадываясь о ее существовании. Только сталкиваясь с другими сетками, с возможностью другого членения мира, можно заподозрить относительную произвольность членения, предлагаемого нашим родным языком.

За каждым словом стоит определенное знание, добытое предками и переданное потомкам уже «готовым». Конечно, каждое новое поколение должно усвоить это знание. Но трудность усвоения не сопоставима с тем трудом, который затрачен на создание знания. На теорему Пифагора учитель затрачивает один урок – 45 минут. А сколько лет опыта, наблюдений, размышлений понадобилось, чтобы человеческий разум, разум Пифагора, смог сперва открыть, сформулировать эту теорему, а потом доказать ее? За Пифагором стоит вся ранняя история математических знаний, которые он усвоил.

Но ведь так же обстоит дело с **каждым словом** языка, с каждой его формой. Каждое слово – это успех познания, это рывок из тьмы. И никакая наука не спрессована так плотно, как знание, концентрированное в языке. Науки в современном понимании так еще молоды, – редкие насчитывают два десятка веков. Основы каждой науки изложены в нескольких томах, всех наук – в нескольких десятках томов. А язык прессовался в течение многих тысячелетий.

Каждая наука – это система знаний о какой-то одной стороне действительности. Язык – это знание обо всём. Всё на свете мы познаем с его помощью: и далёкие звезды, и собственные ощущения, боль и радость, тревогу, негодование, грусть... И структуру ландшафта: горы, реки, болота, пустыни и тундру. И типы человеческих личностей: храбрец и смельчак, трус, озорник, фифа и мымра, пентух, подхалим, трудяга и гений... Виды почв, горных пород, виды растений, строение нашего тела. Для всего, чего может коснуться мысль, в языке есть соответствующие слова. И естественно, что все науки (кроме языкознания, о чем я уже говорила) начинались с наблюдений за «вещами» и процессами, которые были выделены и осознаны с помощью слов обычного разговорного языка.

Дальше, углубляясь в свой предмет, науки вырабатывают свой специальный язык. Вначале никаких терминов не было, науки говорили просто: собаку называли собакой, камень камнем, и звезды астрономы называли так же, как пастухи. Все корни наук уходят в естественные языки, и сами науки возвышаются над разговорными

языками с заключенной в них информацией обо всем, как верхушки айсбергов возвышаются над их гигантскими подводными основаниями.

ГЛАВА ВТОРАЯ ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ

§1. Как наблюдать язык

Самое первое, простейшее отношение, которое возможно между эмпирической наукой и ее объектом, – это **наблюдение**. Умение наблюдать у живых существ формируется задолго до появления не только науки, но и разума в человеческом смысле. Наблюдать умеют и животные, причем не только высшие. Люди же испокон веку наблюдают за естественным ходом процессов, имеющих для них жизненно важное значение. На базе наблюдений у них рождаются догадки и том, почему процесс протекает или протекал именно так, а не иначе, и что надо сделать, как поступить, чтобы направить его в нужную сторону. Мы знаем, как часто эти догадки бывали далеки от истины, – но любая догадка такого типа направлена на выяснение механизма, процесса, управляющих им сил и законов, в глубину, недоступную непосредственному наблюдению.

Затем на сцене появляется **эксперимент**. Эксперимент состоит в том, что интересующий нас процесс мы пытаемся воспроизвести искусственно, в условиях, которые нам хорошо известны, потому что мы сами организовали, устроили их в соответствии с нашими догадками и ожиданиями. В этой искусственной, подчиняющейся нам ситуации, мы можем по своей воле менять то или иное условие и наблюдать за тем, как в результате такого вмешательства изменится течение процесса. Если за каким-то вмешательством регулярно следует определенное изменение, мы усматриваем между этими фактами причинно-следственные отношения.

Но всем специальным экспериментальным методам предшествует **наблюдение**, без которого невозможна никакая наука. Наблюдение предшествует и теоретическому осмыслению фактов, и экспериментированию, и моделированию процессов. Но оно не только предшествует; на всех этапах развития науки наблюдение сопровождает все другие методы и всегда сохраняет среди них особое и, я бы сказала, главное место.

Поэтому до тех пор, пока некоторая наука или, точнее сказать, некоторая область искомого знания, некоторая сфера нашего интереса не имеет такого объекта, который она могла бы регулярно, сис-

тематически наблюдать, до тех пор «наука» эта еще и не существует. Примером тому может быть «сфера интересов», которая связывается со словом «парапсихология»: телепатия, ясновидение, телекинез... Есть люди, начисто отрицающие самую возможность подобных явлений; есть верящие в них. Но никому еще, насколько я могу судить, не удалось поставить всерьез научное наблюдение за фактами подобного рода. Существование гипноза давно уже не вызывает сомнений, гипноз наблюдаем, в том числе и в лабораторных условиях, но подлинная природа его по-прежнему не ясна. Телепатия и телекинез в лабораторных условиях научному наблюдению пока не поддаются. Это, на мой взгляд, не доказывает невозможности самих явлений, — такую невозможность следовало бы обосновать теоретически. Но отсутствие объекта систематического наблюдения вполне убедительно свидетельствует о том, что парапсихология как наука пока не существует.

Языкознание, конечно, не парапсихология. Это вполне сложившаяся эмпирическая наука, которую никому не придет на ум ставить под сомнение. У этой науки есть собственный объект наблюдения, она располагает богатой, разветвленной системой приёмов и методов наблюдения за своим объектом. Но дело в том, что этот объект наблюдения не вполне соответствует тому общепринятому представлению о языке, о котором мы говорили выше.

Мы говорили о том, что язык есть продукт коллективного творчества народа, что он является достоянием этого народа, что он хранится в коллективном сознании, которое в каждый данный момент бывает представлено множеством сознаний отдельных людей, носителей данного языка. Это так, — но тот язык, которым непосредственно владеет каждый из нас, язык, заключенный в нашем сознании (а правильнее сказать — в подсознании), недоступен наблюдению извне. Он доступен, да и то только в малой мере, внутреннему созерцанию, интроспекции.

Языкознание сложилось, сформировалось как наука в процессе наблюдений за д р у г и м объектом.

В общественное сознание, где хранится язык, наблюдателю доступа нет. Он не может проникнуть и в индивидуальное языковое сознание (подсознание). Но содержание нашего сознания выражается в речи, оно овеществляется, объективируется в сказанных или написанных фразах. Именно эти фразы, во всем их живом разнообразии, и являются главным объектом наблюдения для лингвиста, каким бы языком, какой бы стороной языка он ни занимался.

Лингвистов всегда интересовало в первую очередь, больше всего именно содержание языкового сознания, а не психический и физиологический механизмы речевых процессов. Для нас существенно не

столько то, что происходит в мозгу, — это проблемы психологии; и не столько то, что «делают» органы речи, — это специальные проблемы физиологии речи, экспериментальной фонетики; нам важно то, что получается в результате речевого процесса и его отдельного акта: продукт речи — высказывание.

Физиологические наблюдения над мозговым излучением, над биотоками мозга в самом лучшем случае могли бы показать, что в данный момент наблюдаемый человек находится в состоянии активной психической деятельности — речевой деятельности: он говорит, или пишет, или воспринимает чью-то устную или письменную речь. Все речевые процессы, в том числе и внутренняя речь, связаны с активностью определённых участков коры головного мозга и потому доступны для наблюдения физиологов. Известно, например (такая публикация была в журналах лет двадцать назад), что наблюдение с помощью соответствующих приборов за излучениями мозга спящего кота позволяет установить, в какой момент ему начинает что-то сниться и до какого момента продолжается сновидение. Однако отсюда ещё бесконечно далеко до того, чтобы узнать, что именно ему снится. Точно так же и наблюдения над физиологическими процессами в мозгу человека не могут приблизить нас к пониманию структуры и содержания языковых форм, в которых осуществляется наше мышление.

Если бы интересующие лингвистов сведения о языке, правила разного рода, о которых мы говорили выше, хранились в сознании носителей языка в относительно ясной и четкой форме, как знания обычного типа, то объектом наблюдения для лингвистики, вероятно, мог бы служить индивид, а лучше — специальная группа мужчин и женщин разного возраста, хорошо владеющих родным языком. Формой активного наблюдения был бы прямой опрос носителей языка.

Было бы неверно сказать, что опрос по специальным программам не используется лингвистами в числе прочих методов получения лингвистической информации. И отбор информантов, и опрос, и запись ответов — важнейшая часть полевого исследования, которое особенно значимо при изучении бесписьменных и младописьменных языков. Но все-таки даже при изучении бесписьменных языков прямой опрос остается лишь вспомогательной процедурой, о чем подробнее мы будем говорить дальше. И это не может быть иначе, потому что лингвистическая информация, как мы уже видели, не содержится в сознании в сколько-нибудь отчетливой форме. Она упрятана глубоко в подсознании. Поэтому опрос носителей языка оказывается связан с принципиальными трудностями.

Таких принципиальных трудностей я вижу две. Одна из них связана с тем, что наше владение языком носит автоматический характер. Мы говорим правильно, «всё знаем и всё умеем» в родном языке именно тогда, когда говорим не задумываясь. Стоит задуматься — и непроизвольность, спонтанность речи исчезнет, мы начнём волноваться, появятся слова-паразиты, речь станет корявой... Это происходит даже в том случае, если от информанта не требуется ничего, кроме того, чтобы сказать, рассказать что-то хорошо известное на родном языке. Если же мы спросим что-то о самом языке, то можем ввергнуть нашего информанта в полнейшее недоумение. Можно ли, в самом деле, спросить — например, у какой-нибудь носительницы русского диалекта, — как будет родительный падеж от какого-то слова, или сочетаются ли в этом диалекте деепричастия со своим подлежащим, или о чём-то еще подобного рода?

Вторая принципиальная трудность связана с тем, что информация, которую мы получаем от индивидов, когда спрашиваем об их родном языке, оказывается информацией не только, а иногда и не столько о языке, сколько о самом данном человеке. Чтобы разделить эти две информации, часто оказывается необходимым уже заранее располагать той самой лингвистической информацией, на которую ориентирован вопрос.

Примером тому может быть семантическая интерпретация, то есть толкование, образной, экспрессивной лексики: если мы спросим пять, шесть, восемь носителей русского языка, что имеют в виду, когда говорят о человеке «тигр», «курица», «мымра», то получим столько разных ответов, сколько человек было опрошено. И только опросив несколько десятков людей, сможем более или менее объективно определить смысл образа. При этом каждый опрошенный, характеризуя «мымру» или другой образ, определённым образом охарактеризует самого себя — через свои симпатии и антипатии к отдельным сторонам данного образа.

Носители языка сами не знают, как получается, что они говорят правильно. Поэтому на вопросы, которые задает им лингвист, они могут или совсем не найти ответа, или ответить по-разному и даже вразрез с тем, что спрашивающему уже известно заранее из других источников. А одним из таких источников бывает и языковая компетенция самого исследователя, особенно если он изучает свой родной язык.

Языковая интуиция, языковое чутье, которое у одних людей более тонкое, у других менее, есть не что иное, как конденсированный, но неосознанный, не рационализированный языковой опыт. Языковую интуицию следует отличать от непосредственного владения языком. Это уже не умение построить правильную фразу и понять

ее, а умение ответить на вопрос о том, можно ли сказать так-то и так-то, будет ли это правильно, хорошо, красиво. Если так нельзя, нехорошо, то как перестроить фразу, чтобы она стала правильной.

К этим вопросам примыкают и вопросы о смыслах фраз и составляющих их форм: значат ли две данные фразы одно и то же — или разное? И если разное, точнее — не совсем одинаковое, то в чем состоит разница? Вопросы этого типа для носителей языка всегда бывают очень трудны. И, пожалуй, одинаково трудны они для образованных и малообразованных людей, для людей с филологической подготовкой и без нее. Чтобы убедиться в этом, можно сделать такой маленький опыт. Возьмем фразу: «Прежде чем выйти из дома, я выключил телевизор». Заменяем в ней союз *прежде чем* союзом *перед тем, как*, а затем сопоставим эти фразы по смыслу и попытаемся ответить на поставленные выше вопросы.

Лингвист, стремящийся к получению научного, объективного знания о языке, должен строго отличать это научное знание от собственного интуитивного знания (представления) о том же предмете. Однако это не значит, что он должен «отключать» свою интуицию, оценивая и обрабатывая материалы, полученные из других источников, а особенно — сведения, полученные от других носителей языка.

Тот факт, что, спрашивая о языке, мы мешаем людям пользоваться языком, заставляем их думать о том, о чем думать им никогда не приходилось, давно известен полевым лингвистам, работающим с бесписьменными и младописьменными языками, и особенно диалектологам, которые имеют дело с носителями говоров, нередко близких к родному языку исследователя. Русский лингвист, приезжая в русскую же деревню, может говорить с селянами на своем обычном, естественном языке, — его, конечно, поймут. И тут особенно важна «заповедь полевого лингвиста»: не ставить прямых вопросов, добиваться от информанта естественного, спонтанного произнесения слова или формы, за которыми «охотится» исследователь. На прямой вопрос нередко отвечают так, чтобы не попасть впросак, не показаться деревенщиной, угодить спрашивающему, сказать так, как сказал бы он сам. При этом живая особенность диалекта, особенно нужная, важная диалектологу, может показаться носителям некрасивой, снижающей их престиж перед горожанином. Если спросить, например: «Как у вас говорят: *апать*, *опять* или *упеть*?» — информанты могут ответить: «*Апать*, *апать* у нас говорят, как в городе, так и у нас, без разницы!» — а через пять минут раздастся: «Гани её, заразу, *упеть* в агарод пашла!», «*Упеть* ети курисы на агарот залез'ли!»

Надо сказать, что прямые, лобовые вопросы сбивают с толку не только носителя диалекта, они парализуют языковое чувство и носи-

теля литературного языка, в том числе и самого лингвиста. Это одна из причин, в силу которых исследователь родного языка не может быть надёжным информантом для самого себя. Попробуйте-ка ответить даже на такие простые лобовые вопросы, как:

(1) Как вы обычно говорите: налей мне чая или чаю? кваса или квасу? *Снек-ыдѣт* или *снех-ыдѣт*?

(2) Говорите вы ноль или нуль? *шкап* или *шкаф*?

(3) Где вы ставите ударение в словах: *столяр*, *шоферам*, *деревце*?

(4) Говорите ли вы *тагда* или *тада*? *кагда* или *када*? *атцвѣл* или *ацвѣл*?

(5) Говорите ли вы *машу рукой* или *махаю*? *помаши* или *помахай*?

Когда-то эти вопросы были заданы мне самой – в анкете, которую распространял Институт русского языка АН СССР. Я ответила, как мне тогда показалось, правильно, – но с тех пор уже 20 лет пытаюсь проверить, как же я действительно говорю. Но так и не знаю.

Однако отвлечемся сейчас от того факта, что прямые вопросы выводят из равновесия тот механизм, который мы хотим изучать, и обратим внимание на другую сторону дела. Представляя себе индивида как возможный объект наблюдения в языкознании, не забываем ли мы о том, что подлинный носитель языка – это общество? Индивид лишь исполняет предписанные ему законы и правила, воспроизводит те действия, которые запрограммированы не им. Воспроизведение всегда связано с какими-то помехами, шумами, отклонениями от заданного эталона. На чем же должен сосредоточить своё внимание языковед? Ведь его интересуют не механизмы воспроизведения, не возникающие при этом шумы, а именно сами воспроизводимые эталоны, общая система данного языка, которую нужно отделить от помех и шумов. Как это сделать?

Это очень сложная и интересная проблема. Она лежит на стыке сразу трех наук: лингвистики, психологии и психолингвистики – и заслуживает специального рассмотрения. Но сейчас достаточно, как мне кажется, будет сказать, что в рамках самой лингвистики обращение к сознанию носителя языка было и остается вспомогательной операцией. Лицо языкознания как науки определяется другими методами – и другим объектом наблюдения.

§2. Текст как объект анализа

Главным объектом наблюдения для языковедов на все времена, от самого зарождения науки о языке, были и остаются тексты.

Когда лингвист имеет дело с мёртвыми языками, тексты оказываются для него единственным источником знания о том, как были

устроены эти языки, на которых, может быть, уже много столетий никто не говорит. Какие законы и правила управляли речевым поведением людей, умерших сотни лет назад? Спросить об этом не у кого, кроме как у текстов, которые были написаны при жизни исчезнувшего народа. У текста спрашивать можно, и он способен давать ответы на вопросы точно так же, как природа отвечает на вопросы естествоиспытателей. Текст, как и любой объект, естественный или искусственный, – будь то кристалл полевого шпата, звезда, каменное орудие, швейная машинка или живая клетка, – несет в себе самую самую точную информацию о том, что такое он есть и как он устроен. В частности, текст несет и информацию о том языке, на котором он написан. Нужно только суметь извлечь из него эту информацию, – а это далеко не всегда просто.

Если же речь идет о живых языках, то, кроме текстов, мы располагаем, в принципе, и другими источниками лингвистической информации. Однако ни один из них по своей значимости для лингвистики не может соперничать с текстом. И эта значимость особенно ярко обнаруживается именно тогда, когда лингвист приступает к исследованию живых, но бесписьменных языков, – языков, на которых не существует книг. С чего же мы начинаем работу с таким языком?

Мы начинаем с того, что сами создаем тот текст, или те тексты, которые потом будем исследовать. Лингвист берет тетрадь и записывает в нее на слух фразу за фразой на ещё неизвестном, точнее почти неизвестном ему языке, слушая речь не умеющих писать носителей языка. Это единственно возможная, единственно правильная модель поведения языковеда, сталкивающегося с подобной задачей. Без текста он работать не может, текст нужен ему как воздух. И каждый, кто хоть немного знаком с наукой о языке, прекрасно знает о том, что именно текст служит нам надёжным и верным объектом наблюдения и изучения. Тексты мы расписываем на карточки, находя в них интересующие, избираемые нами явления. Потом мы «тасуем» карточки, сравниваем, сопоставляем определенные отрезки текстов, формулируем возникающие у нас вопросы и затем снова ищем в текстах ответы на них, привлекая к анализу новые и новые текстовые материалы.

Выше, говоря об индивиде, носителе языка, информанте как о возможном объекте лингвистического наблюдения, я позволила себе на время отвлечься от нерасторжимой связи лингвистики с текстами. Эта связь такая привычная, такая естественная, что мы нередко не замечаем ее, как не замечаем воздуха, которым дышим. Между тем в отношениях «тексты – язык» есть такие аспекты, о которых полезно задуматься и специалистам и неспециалистам. Попробуем же поставить и обсудить некоторые из этих вопросов. Они

кажутся мне достаточно серьёзными, но в традиционном изложении лингвистических знаний для них не находится подходящего места. Вопросы эти состоят в следующем.

Согласимся ли мы назвать русским языком некоторый текст, написанный на русском языке? Очевидно, нет: ясно, что это разные вещи. Множество текстов, даже полную совокупность текстов на некотором языке, называют «корпусом языка», но не самим языком. Различие между текстом и языком становится предельно очевидным, когда мы имеем дело с текстом, написанным на неизвестном нам языке. В этом случае мы видим и понимаем, что обладание текстом: папирусом, пергаментом, каменной стелой, глиняной табличкой, исписанной буквами или иероглифами бумажной страницей – не приближает нас к задаче познания языка. Чтобы извлечь из текста какую-то лингвистическую информацию, мы должны хотя бы начерно прочитать и понять текст, то есть в какой-то степени уже знать язык, на котором он написан.

Теперь, ясно различив, разделив эти объекты совершенно разной природы, язык и текст, мы можем спросить: почему же, на каком основании в обычной исследовательской ситуации мы можем, позволяем себе использовать один объект – текст для получения знаний, которые будем относить к совершенно другому объекту – языку?

Являются ли те знания, которые мы получаем в результате наблюдений над текстами, исследования текстов, действительно знаниями о языках, то есть знаниями о «знаниях и умениях», которыми обладали создатели текста, о правилах и законах, которые управляли их речевым поведением и, неизвестные им самим, дошли до нас в этом продукте их творчества и труда?

Чтобы ответить на эти вопросы, чтобы яснее представить себе те сложные, многосторонние отношения, которые связывают тексты и языки, постараемся глубже вдуматься в собственную природу текста и в то, какую он заключает в себе информацию.

§3. Текст как источник знания

В современном мире подавляющее большинство знаний люди получают из текстов: о том, как устроена вселенная, о том, как работает наша печень, какие процессы протекают в доменной печи, что такое рейтинг, солнечное затмение, морские приливы... Даже о событиях в своей семье мы нередко узнаём из писем и телеграмм.

Тексты, которые нас окружают, так разнообразны, что сразу не просто назвать объединяющий их признак. Что общего между учебником арифметики, романом Льва Толстого, бухгалтерской ведомостью, тетрадкой школьника? То, что все они написаны буквами на

бумаге? Но и это не обязательно, вспомним Розеттский камень с египетской надписью – текстом, расшифрованным Шамполионом; или глиняные таблички с клинописной записью о Гильгамеше, или египетские папирусы, или новгородские берестяные грамотки.

Слово *текст* подразумевает обычно материальный предмет с нанесёнными на него графическими значками, из которых может быть извлечено сообщение, сформулированное на каком-либо языке. Текст – это результат целенаправленного, сознательного действия, на которое, по-видимому, способен на Земле только человек. Даже если иметь в виду тексты, которые порождают (или будут порождать) машины, – то ведь за машинами всё равно стоит создавший их человек. Текст создаётся кем-то, почему-то, для чего-то и для кого-то. Он всегда имеет и Автора, и Адресата.

Цели, с которыми создаются тексты, бывают очень различны. Прямая цель, состоящая в **передаче информации** по определённому адресу, редко выступает как основная. Её скорее можно назвать **ближайшей**. За нею усматривается **воздействие** на Адресата, побуждение его к определённым размышлениям и действиям.

Цели, близкие и отдалённые, в разной мере осознаются авторами. В самом тексте они обычно не формулируются, а если и формулируются, то это совсем не значит, что они именно таковы. Однако всё содержание текста, вся его структура существенно определяется целью. Адресат только тогда адекватно воспринимает текст, когда он понимает целевую установку Автора.

Сложные переплетения жизненных целей пишущих вносят искажения в информацию о фактах и событиях; люди, ориентированные по-разному, разными глазами видят события, а в рассказе о них по-разному ставят акценты, опускают одни, акцентируют другие детали. Поэтому всякий текст наряду с информацией, которую пишущий хотел бы сообщить, несёт в себе и другую, неявную информацию пишущего о самом себе. В жизни мы знаем и учитываем это. Так, получая письма от близких, делаем коррекцию на то, что один видит всё в розовом, другой в чёрном свете, или наоборот. Точно так же имя автора работы по нашей специальности обычно ориентирует нас относительно ожидаемого угла зрения на предмет и определяет меру доверия и интереса к работе.

Отношение Адресата – получателя текста к тексту я назвала бы **потреблением**. В жизни мы говорим «читает», иногда «изучает» – например, студенты, аспиранты, научные работники изучают литературу по своей теме. Но речь идёт не об изучении текстов как таковых, а только о тщательном извлечении заключённой в них информации о чём-то совершенно другом, о предмете, освещённом в тексте.

Возможен и совершенно другой подход к тексту. Из текста можно извлечь информацию, которую Автор в него не закладывал, а Адресат не извлекал. Это информация о самом тексте, на которую ориентированы палеография, текстология и лингвистика. Всякая вещь несёт в себе богатейшую информацию о себе самой, — но её можно извлекать только под определённым углом зрения. А чтобы она стала научным знанием, её нужно вписать в систему знания, составляющего данную науку. Знание, не увязанное с этим целым, всегда остаётся вне науки. Каждая из названных наук характеризуется своим подходом к тексту, своей ориентированностью на определённый аспект текстовой информации, своими приёмами работы с ним. Это относится и к другим наукам, работающим с текстом.

Историка и литературоведа, в отличие от палеографа, текстолога и лингвиста, интересует в первую очередь содержание текста. Исторiku важна информация о событиях; но, чтобы использовать информацию, извлекаемую из текста, нужно знать, чему в ней можно доверять, а чему нельзя. Чтобы снять искажения, нужно вычислить угол зрения, под которым автор видел и описывал факты. Если у учёного уже есть социальный портрет автора, он может скорректировать переданную им информацию; если, наоборот, из других источников ясна «картина события», то его интерпретация данным автором позволяет оценить его идеологическую позицию, а тем самым яснее увидеть состояние общественной мысли. Но обычно текст проливает некоторый свет на оба эти предмета. «Информация» и «помехи» дополняют друг друга, переходят друг в друга.

Литературоведа интересует художественное произведение как проявление особой формы самосознания общества. Художественное произведение предлагает читателю некоторую модель действительности. Читатель, потребляя текст, следит за сюжетными перипетиями, за судьбами героев, эмоционально переживает их борьбу между собою и с роком, воспринимает образы как реальность. Учёный же исходит из того, что всё это присутствует в книге ради определённой концепции жизни, её ценностей, добра и зла, того, что есть, в отношении к тому, что должно было бы быть. Задача литературоведа — извлечь из текста эту концепцию, понять и описать, что она из себя представляет: что сказано автором и как это сказано. И какие бы дальнейшие задачи он перед собой ни ставил, к тексту он обращается именно с этими двумя вопросами.

Историка и литературоведа, при всём различии их задач и подходов к тексту, объединяет интерес именно к той информации, которая вложена в текст его автором, хотя и для других Адресатов. Им не важно, что представляет собою этот текст как материальный предмет: на какой бумаге, какими чернилами написаны «Бедные люди»,

каким из немецких шрифтов напечатан «Фауст». Не важно — но только в конечном счёте. Вот историк нашёл интересный документ. Но подлинный ли он? Датирован ли? Как узнать, когда он написан, где, кем?

Палеография — специальная вспомогательная дисциплина. Она изучает фактуру текстов, подходит к ним как к материальным вещам: исследует качество бумаги, на которой писались книги и документы, устанавливает, где и когда она была сделана. И как сделана, каким способом — это тоже помогает датировать время её изготовления. Очень помогают датировке водяные знаки — следы особых сеток, применявшихся при изготовлении бумаги; этих знаков было много, они собраны в специальных справочниках. Зная, когда появился тот или иной знак, мы можем быть уверены в том, что текст на бумаге с этим знаком не мог быть написан раньше этой даты. А так как бумага редко хранится больше полстолетия, то и «верхнюю дату» тоже можно приблизительно наметить. Интересуют палеографию и почерки, закономерно меняющиеся с каждым полустолетием. При определении возраста и места происхождения рукописи учитывается и много других признаков: чернила, манера пагинации, расположение строк, способ брошюровки листов и др.

Ещё одна вспомогательная филологическая дисциплина — текстология. Филология в прошлом имела более широкий предмет, чем сейчас. В её сферу входила и история в широком смысле: социально-политическая и история культуры — литературы, ораторского и изобразительного искусства, материальной культуры, — все знания, которые европейцам удавалось извлечь из открывшихся им памятников античности. Главным источником информации были, конечно, тексты. Археология тоже вырастает из филологии: Шлиман никогда не раскопал бы Трою, если бы не был убежден в подлинности «Илиады». В сферу классической филологии естественно входило и изучение древних языков, открывавших доступ к текстам. Но языкознание ещё не было самостоятельной наукой: языки интересовали филолога не как цель, а только как средство познания других объектов.

Текстологию интересовала содержательная сторона текста. Как и в истории, литературоведении, лингвистике, текст представлялся здесь как бы «снятым» с той материальной фактуры, на которую он действительно нанесён. Но эту операцию «разделения единого» каждая наука проводит по-своему, со своими целями. Главный объект текстологии — древние рукописные тексты; эти тексты переписывались многократно, и переписчики по-разному понимали свои задачи. Даже если они стремились точно скопировать текст, они вносили в него свои ошибки, описки, поправки и «лжепоправки». Но нередко

переписчик активно вмешивался в текст, исключал из него одни и вносил другие куски. Текстолог стремится восстановить историю текстов, представленных множеством списков и редакций. Текст предстаёт перед нами как некая сущность, которая меняется, варьирует (разумеется, при помощи человека), оставаясь при этом сама собой.

Лингвистические особенности текстов (и списков) нередко помогают историкам и текстологам привязать их к определённому месту и времени. Например, если в восточнославянских текстах буквы Ъ и Ь, обозначающие редуцированные гласные, твёрдо стоят на местах, это значит, что текст ранний; если переписчик смешивает Ч и Ц, пишет **КОУПЕЧЬ** вместо **КОУПЕЦЬ**, **ЧЬПЬ** вместо **ЦЬПЬ**, значит, он новгородец или псковитянин.

Лингвистика зарождалась в недрах классической филологии, научного знания, направленного на познание античного мира, открывшегося европейцам в эпоху Ренессанса через памятники материальной культуры и через сохранившиеся тексты. Чтобы пробиться к внутреннему смыслу этой культуры, необходимо было прочитать тексты, а для этого овладеть языками, латынью и греческим.

Чтение текстов было и целью обучения, и его средством. Конечно, довольно быстро возникли и распространились и учебники латинского языка, грамматики: сжатая и компактная грамматика Доната и пространная (восемнадцать томов!) Присциана. Когда обучение заканчивалось, ученик овладевал необходимыми для чтения правилами, он начинал читать не облегченные учебные, но любые тексты, в которых, конечно, он сталкивался с такими явлениями, которые не предусматривались известными правилами. Появлялись новые формы слов, новые, не встречавшиеся раньше конструкции. К ним привлекалось внимание, они обсуждались, осмыслились, оценивались.

Новое знание, накапливаясь, тоже требовало закрепления, оно прибавлялось к накопленному ранее. Формировались методы проверки догадок: они возникали на базе текстов и текстами же подтверждались или опровергались. Так исторически сложилось, что **лингвистические методы, приемы работы** веками формировались на базе текстов, латинских и древнегреческих. А объектом анализа были древние тексты.

Но латынь, древнегреческий, санскрит, старославянский уже давно перестали быть главным объектом лингвистики. С XVI-XVII веков всё активнее изучаются, описываются, подвергаются нормированию живые языки Европы: итальянский, французский, английский, русский, немецкий, а затем и другие, письменные и бесписьменные языки. В подходе к этим живым языкам лингвистика уже не

могла ограничиваться только теми методами, которые выработались при анализе древних текстов. Начиная с эпохи Возрождения в рамках филологии постепенно складываются новые приёмы и методики работы с живыми языками, но глубокого развития они пока что не получают.

В XIX веке языкознание выделяется из филологии и приобретает статус самостоятельной науки со своим объектом и своими методами исследования. Наступает эра сравнительно-исторического языкознания, методы которого теперь мы называем классическими. Но и эта лингвистика была ориентирована также на **древние тексты**. Ее специфика состояла в том, что она видела язык как **объект, меняющийся во времени**, и ставила своей целью проникновение в глубины его истории, к общему истоку всех «классических» древних языков Европы — латыни, греческого, санскрита, старославянского. Исследования древних и еще более древних форм были **ориентированы на открытие закономерностей изменений, переживаемых языком**, его звуковым строем и его морфологией. Конечно, единственной базой исследований в этом направлении были тексты.

Позже появляются новые методы и методики, ориентированные на живую речь, — например, географические методики, создание лингвистических диалектных атласов. Потом, уже в XX веке, пришли новые структурные методы, дистрибутивный, трансформационный, компонентный анализ; статистические, психолингвистические методики, в гораздо меньшей мере опирающиеся на тексты. Тем не менее сказанное выше остаётся в силе: даже к бесписьменным языкам лингвистика подходит с теми же самыми методами и приёмами, которые сформировались на базе филологического изучения древних текстов. Метод первичного анализа языка в принципе не изменился, а пока не выполнено первичное описание, использование специальных методик и невозможно, и лишено смысла.

Чтобы описывать новый язык, лингвисту необходимы тексты, и если их нет, он должен создавать их сам, записывая устную речь: легенды, сказки, бытовые истории, отдельные фразы. Почему? Не в силу привычки, инерционности мышления, консервативности методов. Накопление новых методик говорит о другом. Простейший ответ: звук живет долю секунды; память хранит его дольше, но тоже не бесконечно, и с каждой минутой этот звуковой образ теряет определённую чёткость. Как работать с таким ускользающим впечатлением? Он субъективен, и как проверить, что адекватно хранит моя память, что искажено в ней? Разве мыслимо, ничего не фиксируя письменно, вычленив словарь языка, его грамматику, всю систему форм, реконструировать и описать систему звуков? Письменный текст — это

консервант сообщения, с которым лингвисту гораздо удобней работать.

Полвека назад это объяснение было бы вполне достаточным. Но сейчас известны и популярны другие способы консервации «натуральной», то есть именно устной речи. Современный лингвист, выезжая в экспедицию, может взять с собой магнитофон. Это сэкономит ему ценные «полевые часы», он соберёт материала больше, чем можно записать рукой. Но, увы, это не избавит его от необходимости по возвращении затратить много времени и труда на обращение звучащей магнитной записи в письменный текст. С самой лентой он работать не сможет.

Может быть, с тетрадью, с листами, с карточками просто привычней работать? Легче вернуться к определённом месту, можно подчеркнуть, на полях сделать пометки... Навык работы с тетрадью и книгой закладывается с детства. Однако это ведь не мешает биологу работать с отнюдь не с графическими «портретами» срезов тканей, химику – с веществами, а не с символами, геологу – собирать и исследовать натуральные камни. Конечно, результаты наблюдений, анализа, эксперимента они изложат в форме текста, с принятыми в данной науке символами, схемами, диаграммами и т.п. Но это итоговое знание, полученное в работе с натуральными образцами. А лингвист первым делом переводит свой натуральный объект, звучащую речь, в письменный текст.

Коль скоро мы располагаем техническими средствами типа магнитофона и диктофона, разве нельзя представить себе, что операция записи поручается кому-то другому? Японцы, когда хотели изучить именно живую разговорную речь, закрепили звукозаписывающие устройства в клубах, на скамейках в парках, на остановках транспорта... Переписка с ленты – более сложное дело, но и её, если язык родной, можно поручить лаборанту, студенту, даже старшему школьнику. Работа исследователя начинается позже, когда письменный текст готов. Вряд ли можно считать случайностью, что методы лингвистики исторически сложились как системы процедур, прилагаемых к тексту. Почему же мы, изучая письменный текст, считаем, что наш объект – это живой звуковой язык?

За написанным текстом мы всегда слышим звучащее слово. Даже работая с мёртвыми языками, звучания которых никто не слышал, мы про себя озвучиваем графические значки. Вероятно, поэтому лингвистической мысли трудно давался разрыв мнимого тождества звука и буквы. Великий немецкий филолог Якоб Гримм, которому мы обязаны понятием звукового закона, открытием закономерного характера звуковых изменений в процессе эволюции языка, не только извлёк это знание из работы с текстами, но в первом издании

своего труда говорил о «законах перехода букв», под буквами разумея звуки. Да ведь и сейчас образованные люди нередко впадают в ту же ошибку, когда говорят: «Наш Мишенька начал произносить букву «р»!»

Языковеды иногда говорят о том, что письменный текст – лишь бледная тень настоящей речи, что надо изучать именно живой язык. Это можно понять как пожелание расширить традиционную базу лингвистического исследования: изучать и то в языке, что мало отражается в текстах, те лексические и грамматические формы, которые не санкционируются литературными нормами, но звучат в естественной речи. Не все русские люди говорят *у неё*, нередко мы слышим *у ей* а также *без пальта*, *бежи-ка отседа*, *ляжь на диван* и т.п. Пурист – моралист от лингвистики – морщит нос. Члены общества по подобным формам распознают культурный уровень говорящего, особенно остро – «ворон в павлиньих перьях», социальный статус которых не соответствует культурному уровню: что прощается сторожу, не прощается директору школы. Лингвист же должен знать язык таким, каков он есть, а не только тот, каким ему предписано быть, каким он является в правильных текстах.

Возникают и ещё кое-какие вопросы в связи со столь прочной опорой лингвистики на письменный текст. В каждом современном обществе в каждый данный момент передаётся огромное множество сообщений. При этом реализуется множество разных способов. Люди пишут друг другу записки и письма, дают телеграммы, обмениваются шифrogramмами, общаются по телефону, получают информацию по радио и через телевидение. Сообщения передаются жестами («язык» глухонемых) и другими способами, по существу не меняя своей **языковой формы**. Сообщения можно классифицировать в зависимости от способа их материализации. Так почему же, изучая постоянно и регулярно **один** из таких видов, мы настойчиво и неизменно относим получаемое знание к **другому** виду? В системе научного знания не положено делать такой перенос.

Никакая наука не существует без обобщений. Научное знание никогда не относится именно к тому объекту, на котором оно получено. Так, биолог может изучать работу почек, экспериментируя с собаками Жучкой, Барбосом и Шариком. Но полученное знание он отнесёт или к собакам вообще, или шире – к млекопитающим. Но никогда не бывало, чтобы, настойчиво изучая собак, полученное знание биолог отнёс к слонам, почти ни словом не упомянув о собаках! А ведь у нас получается что-то в этом роде.

Изучая тексты, лингвисты описывают систему звуков – и удивительно мало уделяют внимания буквам: как они устроены, чем различаются между собой? Звуки бывают гласные и согласные, а бук-

вы? Тоже «гласные и согласные»? Но это характеристика обозначаемых ими звуков, а для описания самих букв у нас даже нет общепринятых слов.

Звук, обозначавшийся буквой **Ѣ**, исчез в начале XVIII века. Его история на базе текстов изучена досконально: мы знаем, из каких звуков он возникал, как влиял на соседей, как сам менялся под их воздействием: *сильнейший*, но *крепчайший* (а не *крепкѣйший*). Мы называем его по букве: «звук *ять*», хотя звучал он как долгий «э» или дифтонг «еі» или «іе». А буква **Ѣ** имела совсем другую историю. Она дожила до 1918 года, и её отмену тяжело пережили многие гимназические учителя, хотя собственного звукового содержания она давно уже не выражала, только писалась в определённых словах, список которых выучивался наизусть: *белый бледный бедный бес убежал, бедняга, в лес, лешим по лесу он бегал, редькой с хреном пообедал...*

Ближе к нашему времени, в 60-е гг., когда обсуждался проект орфографической реформы, было предложено после Ц всегда писать И, как после шипящих: *цивилизация, цирк, циплёнок, огурци*. Сколько раздавалось тогда протестов! Один известный тогда литератор заявил через газету, что не станет есть огурцов, если их будут писать с И на конце – *огурци*. Видимо, вопрос о том, как писать слово, очень небезразличен людям, он трогает их за живое, хотя произношения это никак не касается. Ведь написание *шило* никому не мешает говорить [шылa].

Звуки, буквы, черточки и тире морзянки, движения рук, взмахи флажков – все это разные одежды, в которые мы одеваем сообщение. Но равноправны ли эти одежды? Целесообразно ли, например, для лингвистических штудий нарядить сообщения в «точки-тире»? Очевидно, что нет. Стоит немножко задуматься, и мы поймём, что эти сигналы просто копируют буквенную запись. Между буквами алфавита, и кириллицы, и латиницы, и сигналами Морзе установлено одно-однозначное соответствие. Какое же новое знание можно извлечь из такого слепка?! А вот между звуковой речью и её буквенным отражением такого однозначного соответствия нет. Отношения эти принципиально иные. Они сложнее и глубже. Самым веским аргументом в пользу этого вывода является то, что лингвистика действительно сумела получить богатые знания о звуковом языке, исследуя письменные тексты.

Чтобы понять эту парадоксальную ситуацию, нужно осмыслить взаимные отношения этих двух семиотических систем – языка и письма. Это действительно две разные системы; буква не заменяет собою звука подобно тому, как определённый набор точек-тире заменяет букву. Буква обозначает звук, а звук сам по себе ничего не

обозначает. Буква – знак, а звук – лишь элемент выражающей стороны знака. Подробнее об этом пойдет речь в четвертой главе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ЯЗЫК КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ

§1. Представление о языке в истории языкознания

Огромное значение языка в жизни человеческих коллективов люди осознали уже в глубокой древности, задолго до того, как сложилась специальная наука о нём. Русское слово *язык*, как и слова других языков, передающие это значение, принадлежат к древнему лексическому пласту. Этимология этого слова и набор выражаемых им значений позволяют догадаться о том, как наши далёкие предки представляли себе этот феномен. Не случайно, конечно, в нашем русском слове объединяются значения «средство общения» и «орган во рту», с помощью которого мы произносим звуки. Эта связь прослеживается и во многих других языках: латинское *lingua*, французское *langue*, тюркское *тил*, *дил*, бурятское *хэлэн* – и орган во рту (анатомическое значение), и средство общения (лингвистическое). Это яркое свидетельство того, что язык для наших предков был формой непосредственного, именно устного общения. Об этой связи говорят и слова *устный*, *устно* (ср. *уста*) в противопоставлении понятию *письменный*, *письменно*. Здесь уже предполагаются две формы общения, тогда как слово *язык* ещё не связано с таким расщеплением, но ориентировано на устную речь прямо и непосредственно.

Характерно и показательно и третье значение, которое имело слово *язык* у древних славян: *племя, народ*. Племена и народы ощущали себя отдельными, самобытными коллективами, отличными от других коллективов, потому что каждому коллективу был присущ особый язык. Чем ближе были между собой языки, чем легче было говорившим на них понимать друг друга, тем более родственными ощущали себя эти коллективы. Если языки их были столь разными, что взаимное понимание исключалось, древние народы склонны были вообще не признавать такие непонятные им языки настоящими языками, они воспринимались скорее как какое-то бормотанье. С этой точки зрения, в общем-то, «в порядке вещей», что на Руси всех иностранцев называли *немцами*: аглицкий немец, фряжский немец (итальянец). Говорящие не по-русски приравнивались к *немым*, не умеющим говорить. Такая оценка типична для са-

мых разных народов: «Только мы, греки, говорим правильно, варвары же не говорят, а бормочут».

Предания и легенды древних народов доносят до нас их представления о природе и назначении языка, о его роли в жизни общества, свидетельствуя о том, что эти вопросы волновали людей уже много тысячелетий назад. Так, из Библии мы узнаём, как занимала её создателей тайна возникновения языка. Было у них две версии ответа на этот вопрос. В первой главе «Книги Бытия» говорится о том, что язык, то есть имена вещей, созданы и сообщены людям богом. Во второй главе даётся другая версия: здесь рассказывается, что имена вещам давал сам человек, Адам, бог провёл перед ним все живые существа, чтобы Адам их «окрестил», и имена, придуманные Адамом, остались уже навсегда.

По свидетельству Геродота, в VI веке до нашей эры египетский фараон Псамметих тоже размышлял о происхождении языка и о том, какой же из многих языков Земли, — а он уже знал, что их немало, — является самым древним, родоначальником всех остальных. Он даже поставил своего рода эксперимент, стремясь получить объективный ответ на этот вопрос. Эксперимент состоял в том, чтобы двух детей воспитать в строгой изоляции от общества. Псамметих был уверен, что дети заговорят — но на каком языке они заговорят, если не будут слышать никакой речи? Именно этот язык и надо будет признать первичным. Мысль о том, что дети, воспитанные таким образом, могут не заговорить вообще, экспериментаторам в голову не приходила, потому что «первичный язык», как они полагали, даётся людям так же естественно, как и дыхание. Согласно легенде, дети действительно заговорили, и первым их словом было «бзкос» — фригийское название хлеба.

Нам сейчас очевидно, что если эта легенда не вымысел, то эксперимент был поставлен не чисто: кто-то из кормивших детей был фригийцем и произносил при них это слово. Но интересна сама конструкция рассказа, те мысли, те идеи, которые продиктовали или действительно эксперимент, или легенду, которая так ярко свидетельствует о живом интересе к проблемам происхождения языков уже на заре культурной истории человечества.

Показательна в этом отношении и библейская история о вавилонском столпотворении. В ней содержится наивная попытка объяснить появление на Земле множества разных языков «гневом божьим». Согласно легенде, бог «смешал языки», то есть сделал так, что ранее понимавшие друг друга люди потеряли взаимное понимание. Наказание последовало за то, что вавилоняне, возомнив себя равными богу, дерзнули строить самую высокую — до самого неба, до самого бога, — башню, «столп». После того, как бог смешал языки,

они перестали понимать друг друга, и их дерзновенный замысел не мог быть доведён до конца. Сам способ божьего наказания говорит о том, что создатели легенды хорошо понимали значение для общества единого языка, понятного всем средства общения; без этого общество не может существовать как единый социальный организм.

Древние греки живо интересовались происхождением имён, и философы в течение нескольких веков спорили о том, связаны ли имена с природой самих вещей, ими обозначаемых, или они случайны и принадлежат вещам только в силу установившегося обычая. Много разных вопросов о языке задавали себе и римляне, и арабы, а затем и европейцы.

Чем ближе к нашему времени, тем шире становится круг этих вопросов. Но любопытно отметить, что ни иудеи, ни египтяне, ни греки и римляне, ни арабы, ни европейцы не спрашивали себя и своих мудрецов о том, **что же такое язык, к какому роду вещей он принадлежит.** Вероятно, этот вопрос не возникал потому, что это казалось само собой очевидным. Язык — это то, что и как мы говорим; это слова, которые мы произносим, это звуки, это предложения, фразы, вместе со всем, из чего они состоят. Это, наконец, тексты, записанные буквами на папирусе или на другом материале. Язык — это то, что обеспечивает людям возможность общения, возможность разговаривать, делиться с другими своими мыслями и чувствами, узнавать, что думают и чего хотят другие люди, близкие и далёкие. Разве это не ясно?

До начала XX века это в самом деле казалось ясным. Но на грани веков женеvский лингвист Фердинанд де Соссюр глубже своих предшественников задумался над этим вопросом, и вдруг оказалось, что ответить на него современная ему наука не могла.

В самом деле, что значит ответить на вопрос «что такое язык»? Как вообще следует отвечать на вопрос, что такое X? Чаще всего в ответе указывается некоторый род, к которому, по нашему мнению, принадлежит объект X, и затем называются те отличительные признаки, которыми определяется особое место X как вида данного рода. Например, про берёзу мы скажем, что это дерево (род) с белым стволом, кудрявой кроной и резными листьями (отличительные признаки берёз, по сравнению с дубами, вязами и другими деревьями). Жирафа — животное, которое живёт в Африке; у жирафы очень длинная шея, красивая жёлтая с пятнами шкура, маленькие рожки. «О» — это буква русского алфавита, имеющая форму овала и обозначающая огубленный непредний гласный звук. Такие толкования легко построить тогда, когда мы знаем много объектов и много видов объектов, принадлежащих данному роду: много деревьев, кроме берёзы, много букв, кроме буквы «О», много видов мебели, одежды,

посуды, разные водоёмы, разные виды транспорта. Если ясен род и входящие в него виды, нетрудно вычленить и описать какой-то из них. Но к какому роду явлений можно отнести языки? С какими другими явлениями их следует объединить?

Еще в прошлом веке язык представлялся уникальным явлением, единственным в своём роде, ни на что не похожим. Конечно, языков было известно много. Слово «язык» обозначало род, объединяющий все языки людей. Но этот род ощущался как верховный, не подлежащий и не поддающийся дальнейшему обобщению. Как известно, вещи познаются сравнением, но сравнивать между собою можно лишь однородные вещи. Что же в окружающем нас мире однородно, сопоставимо с языком? Как будто бы таких вещей нет, мы их не знаем. А если какую-то вещь нам сопоставить не с чем, то очень трудно сказать о ней что-то существенное в классификационном смысле. О таких вещах можно много рассказывать, перечислять их разные свойства, интерпретировать эти свойства так или иначе в свете истории и синхронного функционирования, но логическому осмыслению в понятиях рода и видового отличия, то есть в тех понятиях, в которых обычно даётся ответ на вопрос «что такое X», подобные объекты не поддаются.

К середине XIX века, и особенно во второй его половине, лингвисты, философы и психологи начинают всё глубже задумываться над вопросом о **природе и сущности языка**. На эту тему высказывается немало интересных мыслей, и некоторые из них остаются актуальными и сейчас. Таковы, например, мысли В. Гумбольдта о том, что язык — это **энергия, деятельность (Energia)**, а не субстанция, **не продукт** деятельности (*Ergon*). Даже соглашаясь с этой глубокой мыслью, мы продолжаем описывать языки как субстанции, ибо иначе мы не умеем.

Впоследствии мысли В. Гумбольдта развивали немецкие психологи (Г. Штейнталь, В. Вундт и др.), трактовавшие язык как **процесс**, но природа этого процесса оставалась туманной. Под термином «процессы» понимались явления разного порядка: и историческое изменение каждого языка, и речевые акты, использование языка, которому соответствуют специфические психические процессы, протекающие по-разному в сознании говорящего и получателя сообщения.

Однако в лингвистике XIX века господствовало иное представление о языке — не как о системе процессов, а как о некоторой **абстрактной системе**, оторванной от речевой деятельности. Речевая деятельность, живое использование языка с целью общения в это время почти не привлекала к себе внимания лингвистов.

Лингвистика формировалась и развивалась в Европе как наука о языках. Сама Европа была многоязычна, и европейским народам постоянно приходилось иметь дело с другими народами в Азии, Африке и Америке, говорившими на своих языках, не похожих на европейские. В рамках языкознания постоянно сравнивались, сопоставлялись разные языки, их грамматики, их словари, их «звуковая материя», их системы письма, их история, назначение, использование в обществе.

В центре внимания лингвистов всегда находились вопросы о том, чем одни языки **отличаются** от других. Так, для лингвистов существовал и требовал ответа вопрос о том, чем звуковая система польского языка отличается от системы чешского или болгарского; какие явления в латинской грамматике имеют параллели в древнегреческом и санскрите; какие пласты восточнославянской лексики имеют параллели в лексике балтийских и какие — в лексике иранских языков; какие фонетические и грамматические явления одного из близкородственных языков, — например, болгарского среди славянских, — не имеют близких аналогов в других. Но эти вопросы лингвистика и ставила конкретно, и отвечала на них тоже конкретно. По мере того как наука всё глубже проникала в специфику языков на разных уровнях их структуры, она сама начинала члениться на дисциплины: фонетика, этимология, грамматика (сначала морфология, потом понемножку и синтаксис), затем лексикология, семасиология.

Обратная сторона этих вопросов — чем разные языки **подобны** друг другу. Но к такой постановке лингвистика подошла только в середине XX века, когда была поставлена проблема универсалий и начала развиваться лингвистическая типология.

Под этим углом зрения в центре внимания оказываются те общие свойства, которые присущи не тому или этому языку, а всем языкам вообще или определенным группам языков. Это, прежде всего, самые общие принципы организации языков, их «организмов»: то, что все они суть языки звуковые и во всех языках обнаруживаются гласные, то есть слогаобразующие, и согласные звуки. В образовании звуков принимают участие, в принципе, одни и те же органы, хотя какие-то органы, задействованные в одном языке, могут не принимать участия в образовании звуков какого-то другого языка. Но нет языка, в образовании звуков которого не участвовал бы язык.

Все языки являются также языками слов, и в лексиконе каждого языка можно найти слова, обозначающие предметы, и слова, обозначающие признаки, свойства, в частности, действия предметов и их состояния. Наряду со знаменательными словами в самых разных языках обнаруживаются местоимения и служебные слова. Во всех языках слова соединяются в словосочетания и предложения.

Эти общие, постоянные характеристики априори приписываются «языку вообще» и ожидаются от любого ещё не открытого языка.

Таким образом, по мере накопления знаний не только углублялись представления об отдельных языках, родственных и не родственных между собой, но и постепенно формировалось представление о языке вообще.

XIX век был, в сущности, первым веком в истории научного языкознания. Понятно, что вопросов было гораздо больше, чем ответов на них. Но за сто лет напряжённых творческих поисков лингвистика накопила уже не только много конкретных сведений об устройстве разных языков и о том, в чем они бывают сходны и несходны между собой. В последней четверти века особенно интенсивным становится движение теоретической мысли, которая устремляется к «невидимому и слышимому языку», к той ненаблюдаемой сущности, которая усматривается уже за каждым видимым и слышимым языком.

В этом плане чрезвычайно характерны такие работы, как исследование И. Шмидта, автора «теории волн», посвященные загадочным, необъясненным отклонениям от германского перебора согласных, и блестящая работа молодого Ф. де Соссюра – его «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках».

Эти работы, посвященные каждая своему, совершенно конкретному и притом очень тонкому вопросу, интересны не только виртуозностью исполнения и глубиной «хирургического» проникновения в объект. Думая об этих работах с позиции XX века, представляя себе тот путь, который теперь уже пройден языкознанием, а тогда еще не был виден их авторам, включая и Ф. де Соссюра, проложившего этот путь, невольно обращаешь внимание на то, как в это время перестраивается само видение, восприятие языка как объекта языкознания. Постепенно отходит куда-то в тень, на периферию, материальная субстанция языка. Даже представление о самой «бездуховной» субстанции языка, о звукотипе, становится всё абстрактнее, лишается своих артикуляционных и акустических характеристик и приобретает вместо них характеристики системные. Из-под субстанциональных понятий и представлений пробивается представление об отношениях, о связях, о зависимостях как о важнейших системообразующих факторах, определяющих место каждого элемента в общем множестве языковых форм.

В свете новых проблем, теоретических постановок переосмысляются многие понятия, казавшиеся ясными, в том числе и вопрос о природе и сущности языка, по-новому поставленный Ф. де Соссюром.

§2. Язык, речь, языковой материал

Заслуга Ф. де Соссюра заключается в том, что в явлении, которое именовалось словом *язык*, или нем. *Sprache*, франц. *langue*, англ. *language*, которое считалось ясным, интуитивно понятным, он увидел много разных сторон, ранее никем не замеченных. Наука о языке включала в себя разделы, членилась на дисциплины, изучавшие разные стороны языка: фонетика, грамматика, семиология (семантика). Но Соссюр увидел возможность совсем иного членения. В том, что называли языком, он увидел, по сути дела, несколько разных «явлений», разных объектов, настолько разных, разноприродных, что для их именования ему потребовались новые слова, новые понятия. В группу терминов, обозначающих эти объекты, слово *langue* (он писал по-французски) вошло уже в новом своём значении – как имя одного из объектов.

Как известно, текст знаменитого «Курса общей лингвистики» («Cours de linguistique générale») Ф. де Соссюра – работы, ознаменовавшей переворот в языкознании, – был подготовлен и опубликован после смерти учёного его талантливыми учениками, ставшими впоследствии видными лингвистами, – Ш. Балли и А. Сеше.

Как выяснилось много позже, мысли Соссюра, касавшиеся этой системы понятий, были изложены ими недостаточно четко. Ф. де Соссюр представлял эту систему как триаду: *langue*, *language*, *parole*.

До Соссюра язык не получал никакого родового определения. Его дефиниции отражали только функциональные характеристики: «Язык – средство общения людей и орудие познания окружающей действительности». Это, конечно, верно, но что представляет собой это орудие, к какому роду вещей оно принадлежит?

Соссюр определил язык, *langue*, как объективно существующую и принадлежащую данному коллективу абстрактную надындивидуальную **систему знаков**. Тем самым он осмыслил язык как **семиотическую систему**. Он показал также, что семиотических систем много, что они разные, не похожие друг на друга. Фактически он создал понятие о семиотических системах как о родовой категории, в составе которой естественные человеческие языки являются самыми важными, **первичными** семиотическими системами, существование которых делает возможным возникновение и существование всех других: системы письма как второй естественной знаковой системы со своими особыми функциями и очень многих искусственных – от карточного гаданья до знаков дорожного движения.

Смысл же слов *language* и *parole* не был разграничен четко. Под *language* Соссюр понимал присущую только человеку языковую спо-

способность, под *parole* – речь как говорение, как психофизический процесс произнесения фраз и их понимания. При этом сам Соссюр и *language*, и *parole* выносил за рамки тех вещей, которые входят в объект лингвистики и должны непосредственно интересоваться лингвистов. Ими должны заниматься другие науки.

Но два обстоятельства привели к некоторому искажению этой концепции: прежде всего, нечеткость изложения, которая повлекла за собой недопонимание сказанного Соссюром, породила множество толкований и споров о том, что же имел в виду Соссюр. Сыграло свою роль и отсутствие в других языках подходящего «третьего слова»: словам *language* и *parole* в других языках соответствовало только одно слово – *речь*, нем. *Rede*, и триада постепенно выродилась в «диаду» – **язык и речь**.

Значение русского слова *речь*, как и немецкого *Rede*, было широким, не очень определённым и покрывало собой оба смысла, соотносённые по-французски с разными словами и потому более чётко противопоставленные друг другу. Но если мы вдумаемся в разные употребления русского слова *речь*, то сможем почувствовать, заметить в нём эти разные повороты значения.

Мы говорим нередко: «У него хорошая, правильная речь», «Недостатки речи у детей исправляют логопеды», «Учитель-словесник должен развивать речь своих учеников, добиваться того, чтобы она стала правильной и богатой». Но это слово мы употребляем и в контекстах другого рода: «На предвыборном собрании кандидат в депутаты выступил с речью», «Эта речь будет опубликована», «Я не мастер говорить речи».

В первой группе примеров *речь* обозначает **деятельность** индивида, **процесс говорения**. Фразы этой группы легко перестроить, заменив существительное *речь* глаголом *говорить* или отглагольным именем *говорение*: «У него хорошая речь» – «Он хорошо, правильно говорит»; «Если ребёнок плохо говорит, с ним должен заниматься логопед».

Во второй группе примеров *речь* – это уже не процесс, а **результат процесса**, то сообщение, которое передано при помощи звуков – но, в принципе, может быть передано и с помощью букв (если речь будет опубликована – она перестанет быть речью; вспомним речь Достоевского на открытии памятника Пушкину). А во фразе «Его горячая, сбивчивая речь произвела на меня сильное впечатление» оба эти значения предстают слитно, нерасчленённо: впечатление произвело и то, как он говорил (горячо и сбивчиво), и то, что он горячо и сбивчиво рассказал (рассказ или выступление, то есть *речь*²).

Но здесь мы используем обычное слово русского литературного языка, ставшее термином, не связанное с каким-то чётким понятием.

А сделать двумя разными терминами два разных значения одного и того же слова – это и теоретически, и практически неправомерно. Поэтому в первом переводе «Курса» Соссюра на русский язык (1931 г.) идея **речи как процесса** была передана словом *говорение*. Но и этот термин оказался неудачным, он не прижился, – может быть, потому, что как раз второе значение русского слова *речь* – **продукт говорения, сообщение** – в соссюровской системе понятий не имело прямого аналога.

Однако усилия лингвистов в осмыслении разных аспектов соссюровского понимания языка, речи и говорения не были бесполезными. Благодаря поискам, спорам, раздумьям на эту тему стало ясно, что в принципе может быть построено несколько разных понятийных подсистем на базе этого понятийного ядра.

В 30-е гг. вышла в свет широко известная работа академика Л.В. Щербы «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании». Здесь рассматривается тот же круг проблем, но аспекты, которые выделяет Л.В. Щерба, отличаются от соссюровских, причём не только от тех, которые сбивчиво представлены в «Курсе», но и от тех, которые вырисовываются из собственных записей швейцарского лингвиста. Л.В. Щерба различает понятия «речевая организация человека», «языковая система» и «языковой (речевой) материал».

Первый аспект, который выделяет Л.В. Щерба, – это **речевая организация человека**, понятие, соотносительное с **речевой способностью** Соссюра.

Этот первый аспект, которому придаётся особая значимость, по-видимому, сложнее других – не случайно он первый. Л.В. Щерба определяет речевую деятельность как **процессы говорения и понимания**. Он подчёркивает неразрывность этих двух сторон актов общения и тот факт, что процессы понимания, интерпретации языковых знаков не менее активны и не менее важны в процессе общения, чем говорение.

Из речевой способности следует **речевая деятельность**, которая предстаёт как «верхний», доступный прямому наблюдению пласт или, может быть, надстройка над другим сложнейшим объектом – «речевой организацией человека». Именно речевая организация в понимании Щербы, а не сама речевая деятельность, соотносится с тем, что Соссюр называл **речевой способностью**. Деятельность – реализация этой способности.

Речевая организация человека – это тот механизм, с помощью которого человек перерабатывает свой речевой опыт, всё когда-либо услышанное и сказанное им, и обретает действительную возможность «творить свою речь». Ибо *речь, говорение* – глубоко твор-

ческий процесс. Мы не воспроизводим в ней когда-то ранее слышанное, но по-новому каждый раз складываем определённые «ку-сочки» выражения и содержания.

Думаю, правильно будет сказать, что механизмы, названные Л.В. Щербой «речевой организацией человека», суть именно те механизмы, с помощью которых каждый индивид закладывает в свою психофизиологическую субстанцию отвлекаемый от языкового (речевого!) материала язык, с его словарём и грамматикой, а также фонетикой.

Второй аспект – это **языковая система**, то есть соссюрковский *langue*, язык. Языковая система – это «словарь и грамматика», ибо правильно составленные слова и грамматика должны исчерпывать знание данного языка; достоинство словаря и грамматики должно измеряться возможностью составлять, опираясь на них, любые правильные фразы данного языка.

Третий аспект – **языковый (речевой) материал**, то есть «совокупность всего говоримого и понимаемого в определённой конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы». Этот третий аспект сам Л.В. Щерба интерпретирует как «тексты». Щерба употребляет это слово как современный аналог слов «литература, рукописи, книги», которыми пользовался «старый филолог», но не сосредотачивается на нём.

Как термин «текст» входит в современную лингвистику в существенно ином контексте – в контексте концепций американской дескриптивной лингвистики. Американские дескриптивисты не приняли к руководству соссюровское расчленение «язык↔речь». Они исходили из противопоставления «текст↔интерпретация текста лингвистом». Это противопоставление как будто родственно той постановке проблемы, о которой шла речь выше: **источник знания – это текст, объект отнесения знания – это язык**. Но всё-таки это другая проблема, другой подход, другая постановка вопросов. Здесь оказывается снятым самый интересный, глубокий и сложный вопрос, над которым размышляли и Ф. де Соссюр, и Л.В. Щерба.

Этот вопрос – **об отношении понятия «текст» к понятиям «язык» и «речь»** – здесь не стоит, потому что сам язык предстаёт в рамках концепции американских дескриптивистов не как естественный объект, подлежащий изучению, хотя и не данный нам в непосредственном наблюдении, но как наше представление, как построенная нами модель, объект которой, моделируемое явление действительности, не находит себе специального места в системе понятий (онтологии).

Закономерным развитием этой концепции является и дальнейшее расчленение, предложенное Л.Р. Зиндером и Н.Д. Андреевым:

язык – речь – речевой акт – речевой материал. Эта микросистема понятий не заменяет других, но может существовать как один из вариантов видения проблемы. В каждом из таких вариантов высвечивается, акцентируется что-то своё. В данном случае в сферу повышенного внимания попадает речевой акт – минимальная клеточка процесса общения. Эта клеточка была осознана и выделена Ф. де Соссюром, но в его концепции «язык↔речь», как и в концепции Л.В. Щербы, это понятие не нашло себе особого места.

Проблематика, связанная с речевой способностью, уклоняется в сторону от собственно лингвистической проблематики. Она лежит скорее в области психолингвистики. Но определённое представление о том, что представляет собою эта способность, органически вписывается в систему представлений общего языкознания, – без него остаётся существенно неполной лингвистическая картина мира, за которую «отвечает» эта лингвистическая дисциплина. Поэтому кратко остановимся ещё на одном понятии, которое довольно близко смыкается с понятием **языковой способности**, – это **языковая компетенция**.

Понятие языковой компетенции связано с именем американского лингвиста Н. Хомского («Язык и мышление» и др. работы). Это понятие подразумевает **«внутреннюю сторону» владения языком**, соприкасаясь тем самым в пространстве науки с понятием речевой организации человека Л.В. Щербы. Языковая компетенция обязательно включает в себя умение говорить и понимать речь на данном языке. Но, кроме того, это понятие подразумевает ещё и способность индивида «быть судьёй» в отношении речевых построений, которые ему предлагаются, то есть умозаключать об их правильности или неправильности, а также производить определённые лингвистические операции над готовыми речевыми построениями, преобразовывать их и затем оценивать правильность полученных искусственных образований. Очевидно, что фиксация внимания на этих сторонах языковой способности (компетенции) тесно связана с вхождением эксперимента в практику лингвистических исследований. О важности лингвистического эксперимента, о больших возможностях, которые он открывает перед наукой, горячо и убедительно писал Л.В. Щерба. Но в 30-е гг. время эксперимента в отечественной лингвистике, видимо, ещё не пришло, и связанные с ним аспекты языковой способности оставались в тени.

§3. Язык как система знаков

Первым, кто понял, что ответ на вопрос: что же является целостным и конкретным объектом лингвистики? – исключительно труден, был Ф. де Соссюр. Для ответа на него нужно сначала вычленил сам

объект, отделив его от других, очень тесно связанных с ним, но «им» не являющихся: речь, речевая способность, речевая деятельность и др.

После того, как язык был выделен и противопоставлен этим другим объектам, оказалось возможным задуматься над тем, что же он собою представляет. Язык был осмыслен Соссюром как **система знаков**. Но такой ответ сразу же влечет за собою другие вопросы – и, по существу, мы не можем признать его «ответом», пока нет ответов на эти другие вопросы. Из них важнейшие, это, во-первых, что такое **знак**? и что такое **система**, что значит **быть системой знаков**? И во-вторых: **какие еще есть системы знаков**? Что представляет собою этот «род», знаковые системы, одним из видов которого являются человеческие языки?

Природа и свойства знака

Определяя язык как систему знаков, используемых людьми для передачи сообщений, Ф. де Соссюр охарактеризовал сами знаки как **двусторонние** сущности, соединения разнсприродных сторон – смыслов и акустических (артикуляторно-акустических) образов. При этом он сказал совершенно четко, что **обе эти стороны языковых знаков в равной мере психичны**: и та и другая являют собою лишь образы, **образ звучания** и **образ вещи** или явления.

Будучи психичными по своей сущности, знаки отнюдь не являются абстракциями. Они совершенно конкретны: это ассоциации, скрепленные коллективным согласием. Местонахождением этих реальностей, их хранилищем Соссюр считал человеческий мозг. Вероятно, полезно напомнить, что общество – это множество индивидов, и в мозгу каждого единообразно отпечатаны эти знаки, но это ясно и само собой. Сейчас сосредоточим внимание на другом: **что такое знак? Какому миру принадлежат знаки?**

Знак – это совершенно особое образование, которое в этом своем специфическом качестве не принадлежит ни миру идей, ни миру вещей. Знак лежит между этими мирами. Он есть именно то, что дает людям возможность порождать идеи, мысли относительно окружающего их реального, материального мира. С помощью языковых знаков мы объективируем свои мысли, то есть выносим их за пределы своего индивидуального сознания, обмениваемся ими с другими людьми.

Сущность знака определяется тесной, нерасторжимой связью его сторон, означающего и означаемого, – связью, которая устанавливается только человеческим разумом. Мне думается, что связь эта такова, что ею в равной мере, аксиоматически, определяется как сущность знака, так и сущность разума. Разум – это свойство субъ-

екта, которое позволяет ему порождать знаки и оперировать с ними. Знак – это тот объект, который порождается разумом, и обладание знаками, умение оперировать ими дает основание утверждать наличие разума.

Знак – очень сложное, многомерное образование. Адекватно отобразить его какой либо схемой вряд ли возможно. Но для того, чтобы обсуждать определенные его стороны, я попробую опереться на приводимую ниже схему.

Схема 1

Структура языкового знака



Эту схему я интерпретирую следующим образом.

Прежде всего, она выражает **неразрывное единство означающей и означаемой стороны**, имеющее ассоциативную природу. Эти его стороны не существуют порознь, отделить одно от другого значит разрушить знак. Означающее, какова бы ни была его природа, является таковым лишь постольку, поскольку оно что-то означает. И наоборот: означаемое является таковым лишь постольку, поскольку оно соотносится с означающим, обозначено им.

Означающая сторона – это единство двух образов: акустического и артикуляторного. Они четко сопряжены друг с другом в подпорке носителей языка: акустический образ позволяет нам распознавать звуковые образы слов и форм, артикуляторный – служит программой произнесения слов.

Означаемая сторона – это образ «вещи», подразумеваемой знаком (включая в понятие «вещь» и действия, признаки, явления, отношения, и те абстрактные представления, которые соответствуют морфемам).

Что представляет собою эта внутренняя сторона знака? Это некоторый смысл, некоторая идея. Но какова ее подлинная природа, сказать трудно. Содержательную сторону слова нередко приравнивают к понятию. Я с этим не могу согласиться. Понятие трактуется в логике как особая форма отражения мира нашим сознанием, связанная с вычленением и осознанием «общих и существенных признаков предметов и явлений». Но психические сущности такого типа формируются только в специальных областях знания, прежде всего в системах наук. Содержательная сторона слов естественных языков имеет существенно другую природу, в чем легко убедиться, проделав простейший эксперимент.

Вот десять очень простых, общепринятых слов: *масло, слабость, сон, ящик, трава, олух, крошка, флакон, ящик, труба, лёс*. Попробуйте назвать «общие и существенные признаки» соответствующих «понятий». Хорошо бы записать и посмотреть по часам, сколько времени это потребует.

А потом можно сделать то же самое относительно слов *перпендикуляр, префикс, скорость, меридиан, остров, гипотенуза, питекантроп, флюорография, массаж, публикация*. За этими словами стоят понятия соответствующих специальных областей знания; это известные термины, а с терминами связаны определения, в которых указаны «общие и существенные признаки». Многие из этих терминов мы учили в школе, определяли их признаки; что-то забыто, но что-то осталось, и задача состоит только в том, чтобы мобилизовать свою память.

А со словами первой группы никакие признаки в нашей памяти не связаны. Чтобы назвать, сформулировать их, мы должны сначала их вычленить, провести абстрагирующую работу, то есть сделать то, чего, пользуясь словами, мы никогда не делаем.

Это и значит, что означаемое слова не равносильно понятию. Оно гораздо богаче и вообще имеет другую природу, которая, как мне кажется, ближе всего к общему представлению, то есть к обобщению синтетического, а не аналитического типа. Термин же не является словом общего языка, его означаемым является понятие, которое существует также в форме определения. Термины и понятия принадлежат специальному языку определенной науки или шире — сферы деятельности.

Значение слова естественного языка не определяется, оно только фиксируется в словарях. Это гибкая, растяжимая семантическая структура.

Относительная произвольность знака

В специальной литературе нередко говорится о произвольности знака, т.е. о том, что между звучанием и значением единиц словаря

нет природной, органической связи. Одни и те же (или «почти» одни и те же) кусочки звучания в разных языках могут быть связаны с совершенно разными смыслами. Например, для русских *Илья* — мужское имя, а во французском языке очень близкая звуковая цепочка (*il y a*) означает 'имеется, есть'. По-русски *линь* — это название вида рыб, а по-китайски *линь* значит 'лес'. По-монгольски *явна* — одна из форм глагола *идти* — 'пошли, поехали', а по-русски, только с более сильным ударением на первом слоге — это наречие с семантикой 'несомненно'.

И наоборот: один и тот же объект в разных языках называется по-разному, например, животное, которое по-русски называется *кошка*, по-французски именуется *chate*, по-немецки *Katze*, по-японски *нэко*, по-якутски *бааска* или *мааска* (русское заимствование, — ср. *Васька* и *Машка*).

Однако произвольность знаков относительна. Строго говоря, произвольны — с современной точки зрения — лишь минимальные знаки, морфемы, включая корни. Новые слова образуются с опорой на существующие, известные, сохраняя с ними живую связь. Но и многие современные корни восходят к более древним корням, которые сначала были производными основами, а затем подверглись опрощению. Чтобы раскопать их историю, восстановить родственные связи и увидеть скрытую мотивацию, которая заложена в каждом элементарном слове, этимология обращается к очень широкому кругу языков — близко родственных, отдаленно родственных и совсем не родственных, но когда-то контактировавших с данным языком.

Однако носители языка усваивают связи между звучаниями и значениями непосредственно в процессе овладения языком, схватывая только прямые, ближайшие мотивации явно производных слов. Пока **прямые** связи значений и звучаний не усвоены, — шишка есть шишка, лампа это лампа, пирожок это пирожок, — мы не поймем речи на данном языке, и органы чувств тут совсем неповинны. Можно слышать все звуки, видеть написанные значки; зная алфавит и правила чтения, можно кое-как озвучить графические цепочки, прочитать написанное вслух. Но никакой прибор не поможет нам уловить их смысл. Пусть органы чувств работают безотказно, но если интеллект не может включиться, все чувственные данные остаются не переработанными.

Отношения сторон знака

Делая знак объектом специального рассмотрения, мы мысленно расчленяем его и получаем возможность судить о природе и свойствах его сторон. Это позволяет различить и осмыслить **несколько типов отношений**, скрытых в природе знака.

Первый тип отношений связывает две стороны знака. Его символизирует **представление знака в форме «доби»**, где «числитель» — означающее, «знаменатель» — означаемое. Это сходство внешнее, знак, конечно, не дробь, но он так же как дробь, не существует вне связи своих сторон.

Означающая сторона знака представлена двумя субпрограммами, работающими одна на прием, другая на порождение речи. Когда знак употребляется в речи, его означающая сторона материализуется в качестве звуковой волны, порождаемой вибрациями наших голосовых связок; тем самым она становится доступной чувственному восприятию. В письменной форме речи та же психическая сущность материализуется в начертаниях букв на бумаге или другом материале. Понятно, что нечто, способное материализоваться, само не является материальным предметом.

Означаемая, «содержательная» сторона знака чувственному восприятию недоступна. Она представляет собою свернутый образ объекта. Если слово конкретно, то связанный с ним образ относительно «нагляден»: *лебедь, малина, береза, прыгать, оранжевый*. Содержательная сторона абстрактных слов хранится в свернутом, сжатом виде, как бутон, в котором потенциально присутствует цветок. Но он всегда готов развернуться с той полнотой, которая необходима для распознавания объектов, составляющих область определения слова, его денотат, а тем самым и направиться на конкретный объект, референт, принадлежащий этому классу.

В акте употребления знака референт может быть представлен реальным предметом или его признаками, например, когда мы угощаем кого-то: *«Возьмите конфету, она вкусная!»* — или замещающим его образом: *«Помнишь дом Толстого в Ясной Поляне?»*

Другой аспект этих отношений — «динамический» — отражают вертикальные стрелки.

Левая стрелка, направленная сверху вниз, от означающего, в его артикуляторном аспекте, к означаемому. В своей исходной точке она соответствует моменту порождения речи и отражает «путь» сообщения от Говорящего к Адресату. Говорящий видит (неважно, внешним или внутренним взором) некоторую картину действительности, в простейшем случае некоторый объект, и по зову этого объекта является безмолвный образ слова — например, слова *яблоко*. Это представление автоматически «отдает команду» органам речи, они приходят в движение и порождают звуковую волну, которая идет к Адресату.

Правая стрелка представляет вторую сторону коммуникации — **получение сообщения** — «ответа» на посланное сообщение: Адресат речи теперь становится Говорящим, а инициатор общения Адресатом.

Он принимает акустический образ нового сообщения и декодирует его.

Но перед ним нет той картины, в его сознании нет того образа объекта, картины, события, о котором ему сообщается Адресатом, о котором он получил информацию. Он воспринимает звуковую волну, ставит ей в соответствие звуки языка, которые складываются в звуковую оболочку слова, и «по зову» этого звучания в его сознании автоматически всплывает некоторый образ объекта. Он «декодирует» сообщение, то есть извлекает из акустического образа заключенный в нем смысл. Он понимает сказанное, не обращаясь к внешней действительности. Для этого достаточно владения использованными в сообщении знаками.

Но между тем образом объекта, который был в сознании Говорящего, и тем образом, который возникает «по требованию слова» в сознании получателя сообщения, всегда остается некоторая разница, «дельта». Средствами языка мысль можно передать только с ограниченной точностью — до семантики знака, который нивелирует реальное многообразие объектов, составляющих его денотат.

Всякая реальная вещь характеризуется бесконечностью признаков. В классы вещи вписываются на основе определенной части присущих им признаков. Чтобы «втиснуть», ввести вещь в тот или иной класс, мы должны **абстрагироваться от каких-то ее особенностей**. В этом и состоит смысл стрелки, направленной от означаемого вправо. Эти операции мы неуклонно выполняем, когда говорим. Значение слова всегда беднее живого представления о вещи. Программа реализации означающего в активном процессе говорения предполагает такое психическое действие, «сжатие», упрощение образа.

Ей соответствует «обратная» программа для получателя речи. Он должен воссоздать, **восстановить живое представление**, соответствующее знаку. Однако из знака он может извлечь только то, что заключается в знаке, а не то, что осталось в сознании говорящего, «за знаком», не вместившись в него. Остальное — недостающую «дельту» — он должен достроить сам. При этом закономерно и неизбежно воспроизведенный образ отклонится от исходного. Например, фразу *«Вера была в таком нарядном платье!»* поймет любой, но только тот, кто видел ее, знает, каким именно оно было. Адресат же представит себе какое-то другое нарядное платье. Но именно так и протекает реальное человеческое общение.

Вертикальными стрелками я хотела прежде всего выразить мысль о том, что «вторая сторона» знака безотказно является по зову «первой» в условиях владения языком и психической нормы. **Левая стрелка соответствует восприятию речи:** мы слышим слова,

нам дается означающая сторона; означаемого мы не видим, его может и вовсе не быть рядом или просто не существовать (*вурдалак*), но по зову звучания в нашем сознании тотчас всплывает образ означаемого: «Пожар!» Или: «Потеряла я пелерину...»

Комбинацией вертикальных стрелок выражается и «круговорот речи» в процессе естественного общения людей с помощью устной речи.

Третий тип отношений в схеме отражен горизонтальными стрелками. Эти стрелки показывают возможности выхода знака за его собственные пределы, обусловленные его реализацией в речи. Знак как таковой виртуален, потенциален. Реализуясь, он становится чем-то другим. Но, «возвращаясь» в систему, он несет на себе некоторый незримый след своей «экскурсии» в мир реальности.

Стрелка, направленная влево от означающего, подразумевает изменения звукового облика слова (шире — знака вообще). Эта стрелка ведет нас от артикуляторно-акустических программ к реальному звучанию, к реализации этих программ. При этом, понятно, говорящий реализует артикуляторный вариант программы (с акустической коррекцией: не случайно глухие теряют четкость артикуляции), слушающий — акустический вариант.

Стрелка, направленная вправо от означаемого, подразумевает изменения семантики знака, развитие, обогащение — а иногда и обеднение семантической структуры.

Изменения означающей стороны знаков, как известно, спонтанны. Они касаются не отдельных слов, а звуков языка как элементов системы. Но звуки существуют только в составе слов. Их варьирование в речи носителей языка замечается современниками, но не осознается как таящее в себе интенцию какого-то системного преобразования. Но история показывает, что это так. Наряду со случайными вариациями в языках постоянно протекают и направленные процессы, ведущие к медленному, незаметному накоплению нового качества. Так В.К. Тредиаковский был, по-видимому, последним человеком, который слышал в русской речи звук, обозначаемый буквой «ять», отличный от того, который обозначается как «е». Сегодня уже очень трудно услышать звук [ж'], который отчетливо звучал еще в первой половине века в словах *дождик*, *вожжи*, *дрожжи*. Сейчас наступает черед уходить для фонемы [ш'], и протекает он в звучащей речи русских людей.

Изменения означаемой стороны знаков связаны с выходом знака, слова, за рамки своей собственной «стандартной семантики» и сферы употребления. Горизонтальная стрелка, направленная от означающего вправо, «за знак», ведет к референту — реальной вещи или к напоминанию о ней собеседнику.

Этот «выход» может быть как в сферу «ничьей территории», еще «безымянной» реальности, так и сферу «чужой» территории, уже принадлежащей области определения другого знака.

Первый случай можно проиллюстрировать следующей ситуацией. Представим себе, что жизнь столкнула нас с каким-то предметом (это легче, чем представлять себе действие или признак), подобного которому мы никогда не видели. Смотрим и не понимаем: что это? В памяти нет готового слова, чтобы назвать его. Но чтобы закрепить увиденное, осмыслить его, рассказать о нем, необходимо слово. И вот наша память, или подсознание, начинает работать — предлагать на выбор словечки, между которыми мы в конце концов делаем выбор.

По самому условию задачи ни одно из этих слов до сих пор не употреблялось для именованья «таких вещей». Но они готовы «растянуться» и принять эту вещь в свой объем, — иначе память нам бы не выдала именно их.

Этот принцип легко продемонстрировать и на конкретных примерах. С каждым десятилетием в наш быт входит немало новых объектов. Одни приходят с готовыми именами — словами языка той страны, откуда они пришли: *сникерс*, *баунти*, *памперсы* и др. Но другие приходят безымянными или названными неудачно, и к ним с разных сторон притягиваются разные «смежные имена», между которыми говорящий коллектив сделает свой выбор. Так, когда появилась «шариковая ручка», этот предмет называли и *ручкой*, а чаще *шариковым карандашом*. Победила *ручка*, но ведь могло быть иначе. Сама вещь была новой — не ручка, не карандаш, а «третье». Новое.

Или другой пример. До 50-х годов были четко противопоставлены: портфель, дамская сумка, хозяйственная сумка, авоська, — и уже дальше рюкзак, чемодан, сундук... А в 50-е гг. промышленность начала выпускать целый ряд новых изделий этого типа: например, большое, довольно красивое «вместилище», кожаное (или под кожу), без замка, без крышки, с двумя ручками, предназначенное носить скорее небольшие покупки или книги, бумаги, чем еду, но никак не «дамскую мелочь». Всплывало и предлагало свои услуги слово *папка*, до сих пор означавшее лишь картонноеместилище для бумаг, но оно не прижилось. Довольно долго конкурировали между собой два слова — *портфель* и *сумка* (с шутливым уточнением «научно-хозяйственная») — пока не разделились сферы влияния каждого.

У слов нашего языка очень сильна интенция — закрыть собой пустоту. Это свойство слова я называю *растяжимостью*. Растяжимость, эластичность присущи, видимо, всем знакам естественных языков. Это свойство обеспечивает этим системам способность все-

гда находится между субъектом познания, человеком, и объектом — миром. Это свойство, по-видимому, больше, чем всё другое, делает множество языковых знаков системами.

Второй тип растяжения слова, выхода за его «естественные», привычные границы, — это его метафорическое употребление. В языке всегда присутствует некоторый фонд живых общеупотребительных метафор. Но сейчас я имею в виду прежде всего «собственную» метафору говорящего типа «*Что это за сковородка у тебя на голове?*» Слово *сковородка* здесь «выскочило» далеко за пределы своего узкого употребления, на территорию, «законно принадлежащую» слову *шляпа*. Как и в рассмотренном выше случае, метафорические употребления тоже «проходят испытательный срок», и некоторые из них закрепляются в общем фонде, как, например, закрепилось в нем много зооморфизмов — названий животных, характеризующих разные типы человеческих личностей.

Именование в речи новых предметов, явлений, событий, с которыми мы до сих пор не сталкивались (а жизнь в своем вечном развитии не может не предлагать нам нового, непредвиденного, к чему мы не готовы), обеспечивается гибкостью, лабильностью представлений, составляющих внутреннюю сторону знаков. А чтобы быть гибким, это представление не должно и не может строиться так, как строится понятие о перпендикуляре. Понятие задается жестко: перпендикуляр падает на прямую всегда под углом 90°, и ни секундой меньше. А духу естественных языков гораздо ближе загадка о смолодине: «*Это белая? — Нет, черная. — А почему она красная? — Да потому, что зеленая.*»

Значения слов естественного языка только в словарях фиксируются толкованиями, по форме выглядящими как определения. В самом языке они не имеют ограничений, существуют как гибкие, растяжимые семантические структуры.

Вернусь еще раз к вертикальным стрелкам.

Я не случайно расположила их в таком порядке. За таким расположением мне видится еще один смысл. Первой, слева, нарисована стрелка, ведущая от выражения к содержанию. Это направление соответствует не только получению конкретной информации об объекте, но и получению человеком, индивидом, всего языка — в частности, первому знакомству ребенка со знаками языка, который ему предлагает общество. Ребенок получает язык от старших, слушая их речь. Слыша, как мать называет некоторую вещь или действие, он видит то, что названо этими звуками, и закладывает в сознание эту связь. Например: «*На мячик! Дай мячик!*»

Но это не значит, что обе стороны знака даются ему в равной мере и одновременно. Если ребенку больше двух лет, звучание нового

слова он схватит и повторит довольно легко. Но что это слово значит? Значение появляется у слова тогда, когда известно, что ещё можно этим словом назвать. Чтобы звуки перестали быть именем именно данной вещи, нужно абстрагировать релевантные признаки. Надо несколько раз услышать это слово, сказанное о разных мячиках.

Всякий раз, называя что-то, мы автоматически относим объект к определенному классу вещей, явлений, событий. Слова — имена идей, а не «вещей». И пока некоторое слово дано ребенку только как имя «вот этой вещи», оно еще семантически пусто. Представим себе, что нам, взрослым, указывая на вещь, вот на эту керамическую штучку, скажут: «*Торпо!*» Что значит слово *торпо*? Куда оно ведет? Может быть, оно указывает на материал? Или на страну, откуда вещь, или на стиль — как слова *барокко*, *рококо*? Что еще можно так назвать?

Смысл, идея, значение знака непосредственно не передаваемы. Они живут в сознании, и пересадить их из одного сознания в другое невозможно. Но мы прекрасно знаем, что идеи передаются. Новым поколениям передается, транслируется весь язык. Только происходит при этом не «пересадка» идей, а их выращивание по индукции. Нормальный мозг (а мозг ребенка в этом отношении исключительно активен) способен реконструировать идею-означаемое по относительно малому числу независимых употреблений знака. Достаточно малышу услышать слово по отношению к двум-трем разным объектам, и он уже сможет употребить его сам. Он готов воспроизвести слово, даже услышанное однажды, только это чаще чревато ошибками. Так, моя дочь, услышав слова *киса* о кошке, — она произнесла его *кхх* — тут же употребила его по отношению к пушистому цветку японской мимозы.

Употребить слово — значит уже иметь в подсознании какой-то, пусть неполный, неверный, но образ означаемого. Например, при одном опросе восьмиклассница отметила как знакомое слово *троглодит*. Когда ее спросили, что оно значит, она ответила: «*Это такой жучок. Он бумагу ест.*». Оказалось, что она услышала это слово от библиотекаря, который назвал троглодитом ученика, испортившего листы в книге. Вспомним «арбузик» Потемкина: так ребенок назвал круглый абажур. Но на то и существует социальный контроль. Носители языка — и взрослые и дети — взаимно корректируют словопотребления, а тем самым и границы представлений об означенном.

Эти представления иногда можно уподобить образу, — но только если за словом стоит нечто конкретное: *белка*, *шуба*, *сад*, *грузовик*. В более общем случае это не образ, не картинка, а своего рода «свертка знания», тот минимум сведений, который необходим и дос-

таточен, чтобы наше сознание, — и наша фантазия! — вырастили из него, как из почки лист, из бутона цветок, богатое, чувственное представление о вещи-эталоне, или о событии-эталоне, представляющем данный класс. Это, мне кажется, равно применимо и к таким словам, как *собака, купаюсь, закат*, и к таким, как *клевета, победа, болеть*.

Система знаков

Обратимся теперь ко второму поставленному выше вопросу — о системности знаков языка. Системность — не внешнее обстоятельство, это внутренний параметр существования объектов, именуемых языковыми знаками. «Растяжимость», о которой мы сейчас говорили, есть следствие системности.

Понятие «система» в науке определяется по-разному. Применительно к разным системным объектам подчеркиваются разные аспекты системности. Чаще всего отмечается упорядоченность множеств системных объектов, заданность между ними некоторого отношения. Но применительно к языку неудобно говорить о заданности — лучше говорить о существовании, наличии отношений. Однако, поскольку эти отношения существуют независимо от нас, мы не можем знать в точности их характера и даже того, действительно ли они существуют. Так не притягиваем ли мы искусственно к языку слово «система»?

Часто говорят и о том, что система — это такое множество элементов, в котором изменение одного элемента влечёт за собой изменение остальных. Возможно, что это действительно так применительно и к языку. Но доказать это так же трудно, как опровергнуть.

Мне кажется, что если на тезис о системности языка смотреть как на положение, требующее доказательства, мы окажемся в самом невыгодном положении. Разумнее принять этот тезис как постулат и, исходя из него как из данности, строить рассуждения и искать приёмы исследования. Но зачем нужно, чем полезно нам это положение?

Прежде всего, оно полезно тем, что требует обращать внимание на связи между элементами и подсистемами постулированной системы. Не довольствоваться тем, что «какая-то связь существует», а думать, что это за связь, с какими другими отношениями она сопоставима. Наши представления о связях существенно расширились и обогатились с тех пор, как мы стали видеть язык системно, но до сих пор понятий о субстанциях в языкознании в несколько раз больше, чем понятий о связях.

Важен и другой поворот проблемы. Признание системности языка требует нового взгляда на каждый языковой знак. Оказывается, это огромная разница — думать о знаке, например о слове, как о «явлении самом по себе» и думать о нём же как об элементе системы.

Если слово для нас — уникальный элемент лексической системы, рассматриваемый «сам по себе», то на первый план выйдет его соотносённость с обозначаемыми вещами. Напомню, что означаемое слова мы определяли как идею, как представление о вещи, а не как множество называемых им вещей. Однако слово существует прежде всего затем, чтобы именовать вещи, и его отношение к разным вещам окажется исключительно важным.

Если же мы понимаем слово как элемент системы, это обязывает нас думать прежде всего о его отношениях с другими словами. Мы не можем уже проходить мимо того факта, что смысловой объём каждого слова зависит от того, с какими другими словами оно граничит по смыслу, вместе с ними описывая какую-то область действительности. Что такое *яичница*? Если «рядом» другого слова с похожим значением нет, то это просто кушанье из пожаренных яиц. А если рядом есть слово *омлет*, то и в значении слова *яичница* появляется новый компонент — «без молока и муки». А если есть еще и *глазунья*, то добавляется различительный признак «с размешанными или цельными желтками». Смысл у каждого слова свой. И все они ограничивают друг друга: *бить, лупить, колотить, дубасить, колошматить, лупцевать* — у каждого глагола свой смысл, свой оттенок.

Если какой-то кусочек действительности в силу разных причин оказывается «покрыт» густой сеткой имён (например, в русском языке цветовая гамма), каждое слово приобретает специфический узкий смысл. Но какой-то другой участок действительности может соотноситься с очень малым числом слов (например, поле запахов в русском языке), и говорящие не испытывают дискомфорта, просто не замечая этого.

Язык есть система знаков прежде всего потому, что именно благодаря его системности наши представления об отдельных объектах — означаемых, прежде всего о вещах, оказываются именно такими, каковы они есть. Благодаря системности язык оказывается способен в каждый данный момент покрывать всё поле опыта своих носителей. Я обращалась сейчас к словарным примерам потому, что это нагляднее. Но, конечно, язык не сводится к своему словарю.

Все основные типы элементов языка связаны между собой отношениями вложения, эта система организована **иерархически**. Иерархия единиц языка состоит в том, что одни, более сложные, строятся из других, более простых. Но определенная «мера сложности» бывает свойственна не одному элементу, — очень многие другие в этом отношении сходны с ним. Поэтому принято говорить об **уровнях (сложности) самой языковой системы**. Впрочем, надо заметить хотя бы в скобках, что далеко не все уровни, ярусы, выделяемые современными лингвистами, отвечают требованию «вложения»

меньшего в большее; например, «фразеологический уровень» трудно интерпретировать в этих терминах, и, может быть, в иных случаях было бы лучше говорить не об уровнях, а о «срезах».

Очень ярко принцип системности демонстрируется на самом нижнем, фонологическом уровне. Конечно, фонема – еще не знак языка, а только «строительный материал» для знаков. Фонемы называют **фигурами выражения**. Но на фонологическом материале Н.С. Трубецким разработан прекрасный концептуальный аппарат системного исследования языковых фактов, приложимый ко всем ярусам языка. Из фонем конструируются морфемы, из морфем состоят слова, слова складываются в словосочетания и предложения. На каждом уровне располагается определенное число единиц – на одних большее, на других меньшее. Но из всех уровней **настоящему «открыт» только уровень слов**. Число слов в каждом живом языке бесконечно, потому что в любой момент к имеющемуся словарю может прибавиться хотя бы одно новое слово.

Остальные уровни можно назвать относительно закрытыми. Их состав может пополняться или сокращаться. Понемногу меняется состав аффиксов, флексий, моделей предложения. Но на этих уровнях процессы протекают очень медленно, а словарь меняется ежедневно.

Анализ системных отношений на грамматических ярусах (срезах) языка затрудняется тем, что мы пока не умеем отчетливо представлять себе и описывать смысловую сторону морфем и синтаксических конструкций. Значения слов мы непосредственно понимаем, есть словари, в которых они описаны. А «словари морфем» только начинают создаваться.

В наши дни лингвистика подошла уже к постановке вопроса о единицах синтаксического уровня языка, к пониманию предложения как языковой формы, которая лишь реализуется в речи, а также к вопросу о том, что представляет собой смысловая сторона предложения и как, какими способами можно ее представить в научном описании. Но, конечно, «поставить вопрос» еще не значит «получить на него ответ». Чтобы твердо сказать, что такое «отдельное предложение» как единица языка, как наметить его необходимый и достаточный объем, найти адекватный способ фиксации этих знаков, представить их конечный список и составить «словарь», содержащий в том числе и семантические толкования, нужна еще очень большая работа.

Пока существует только «Синтаксический словарь» Г.А. Золотовой – монография, в которой собраны и представлены синтаксемы, из которых строятся русские предложения. Списки моделей предложения уже существуют для нескольких тюркских, неко-

торых финно-угорских языков, для русского же подобные списки представляют лишь предикативные узлы предложений и подобные им минимальные формы – списки Н.Ю. Шведовой (Грамматика 1970 г. и Русская грамматика 1980 г.) и В.А. Белошапковой (1989). Нет и «инвентарного» списка моделей сложного предложения с приписанными им толкованиями. А ведь такие «списки» (назвать их «словарями», конечно, трудно!) имеют право на существование и, вероятно, скоро будут созданы. Пока же «идею системности» можно иллюстрировать только простейшими примерами.

Но в том, что язык на всех уровнях проявляет себя как система, сейчас ни у кого сомнений не вызывает. Сам способ, которым современный лингвист приходит к пониманию смысла языковых «не словесных» знаков, морфем, предложений и разных других типов синтаксических форм, которые рассматриваются через их отношения друг с другом, свидетельствует о том, что мы исходим из системного представления обо всех единицах языка.

На грамматических уровнях языка отчетливо прослеживаются микросистемы форм, которые связаны определёнными отношениями с другими микросистемами, составляют с ними подсистемы более крупные, которые на следующем шаге организации опять объединяются между собой в ещё более крупные подсистемы и так далее, пока не придём к грамматической системе данного языка в целом. Так, грамматическое «слово» представляет собою упорядоченную систему словоформ; в представлении о существительном русского языка объединяются формы единственного и множественного числа, и каждое «число» представлено серией падежных форм. Эта подсистема расширяется, распространяется за счёт сочетаний падежных форм с предлогами – число таких сочетаний измеряется уже десятками.

Глагольное слово, в большинстве языков чётко противопоставленное имени существительному, являет собою несравненно более сложную систему систем. Подсистемами этой системы являются группы форм, соответствующие каждой грамматической категории. Грамматика представляет строение этой системы примерно так: сначала всё множество форм глагола делится на два подмножества, на финитные и инфинитные, или личные и неличные, формы. Затем личные формы распределяются на формы наклонений: индикатив противостоит косвенным наклонениям.

Индикатив в большинстве языков один, но не во всех. В нанайском противостоят друг другу две формы реального наклонения – общая и подчеркнуто достоверная – для называния того, что говорящий видел своими глазами.

Далее индикатив членится на времена, то есть вычленяются подсистемы форм, выражающие разные отношения между действием и моментом речи. Временные подсистемы представляют собою тоже упорядоченные множества взаимно противопоставленных форм, выражающих разные отношения между производителем данного действия и данной ситуацией общения (является ли действующее лицо говорящим, адресатом речи или не участвует в разговоре) или передаёт некоторую характеристику действующего лица безотносительно к данной речевой ситуации. Так, в формах прошедшего времени: *купил, рассказали, разбилось, подпрыгнула* – выражается не отношение к данной речевой ситуации, а такие характеристики, как грамматический род, в случае одушевлённости и персональности – пол, а также число.

Косвенных наклонений в некоторых языках насчитывается десять и даже больше. В разных языках эти множества форм членятся по-разному. Вопрос об императиве пока ещё остается спорным: некоторые исследователи (например, В.С. Храковский и А.П. Володин (1986)) вообще выносят его за рамки наклонений.

В подсистеме неличных форм различаются и взаимно противопоставляются подсистемы причастных, деепричастных форм и инфинитива. Система русских причастий, свою очередь, представлена подсистемами форм, чётко взаимно противопоставленных по виду, времени и залогу: *купивший – купленный, покупающий – покупаемый, покупавший – покупающий*. Каждая из таких подсистем содержит по 24 грамматических места, которые взаимно противопоставлены в аспектах грамматических категорий рода, числа и падежа.

Такое представление об этих грамматических системах предлагает нам традиционная описательная грамматика. Но описывать системы можно по-разному. Много в грамматике допускает неоднозначную интерпретацию. Очень сложны и неоднозначны в этом плане аспектуальные отношения, «лексико-грамматическая» категория вида: как проводить границу между формой слова (глагола) и словом – отдельным глаголом?

Но с точки зрения организации грамматической системы самого языка-объекта это не принципиально. Взаимная противопоставленность видовых (аспектуальных) форм очевидна, она не зависит от того, как мы, лингвисты, наметим и проведем свои границы – объединим ли мы аспектуальные формы в понятие одной лексемы или будем говорить о разных словах. Язык существует сам по себе, он вне нашей власти – а мы говорим о нем то, что на данном этапе развития знаний кажется нам ближе всего к истине.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЧЬ КАК ПРОЦЕСС ОБЩЕНИЯ

§1. Простейшая речевая ситуация

Речь в ее противопоставленности языку понимается прежде всего как процесс порождения высказываний, но это же слово обозначает по-русски и результат, порождаемый в этом процессе, продукт говорения, речевое произведение. Понятно, что процесс и продукт – далеко не одно и то же. Поэтому сейчас мы будем понимать **речь** только как **процесс использования языковых знаков для передачи сообщения от Говорящего Адресату речи**.

Что же представляет собою этот процесс? В каких терминах и понятиях можно описывать разнообразие тех реальных форм, в которых протекает человеческое общение? Какими постоянными и какими переменными признаками можно охарактеризовать эти процессы? Что представляет собою отдельный речевой акт, минимальная клеточка процесса общения, и как можно сравнить между собою разные речевые акты? Что сближает их между собою и что различает?

Описание процессов всегда довольно существенно отличается от описания не только субстанций, но и отношений, то есть тех объектов, с которыми обычно имеет дело лингвистика как наука о языке. Специфические трудности описания процессов определяются тем, что процессы протекают в каких-то внешних условиях, и эти условия, существенно определяющие течение процесса, могут меняться, варьироваться нередко в широком диапазоне. При этом возможны такие изменения условий, которые не затрагивают существа процесса, но возможны и такие, в которых процесс протекать не может. Описание процесса с необходимостью предполагает выявление того минимума условий, при отсутствии которых процесс прекращается или не может начаться, а также тех условий, которые определённым образом модифицируют его протекание.

Речевой процесс, как и всякий другой, предполагает совершенно определённые обязательные условия, без выполнения которых речь невозможна. Но в чём именно состоят эти условия, сразу сказать трудно, потому что реальные условия человеческого общения чрезвычайно разнообразны. Чтобы отделить существенное от несущественного, вариативное от инвариантного, необходим анализ.

Из своего жизненного опыта каждый знает, что люди разговаривают, встречаясь на службе, будучи в гостях, сидя у себя дома, стоя на остановке транспорта, в самолёте, в кино – словом, решительно всюду. Разговаривают с родными и с посторонними, знакомыми и не-

знакомыми; беседуют по телефону, обмениваются записками, пишут друг другу короткие и длинные письма; выступают с докладами на конференциях – это ведь тоже форма общения. Слушают доклады, выступают в прениях, высказываются в кулуарах; иной раз ворчат на лестнице, – без адреса... Пишут и читают книги и журналы, газеты, рекламные объявления; слушают радио, отвечают уроки и держат экзамены, заполняют анкеты, шлют телеграммы – этот перечень можно продолжать до бесконечности. Ни одна ситуация, в которой происходит, происходило и будет происходить общение людей, не тождественна никакой другой. В то же время каждая из этих ситуаций может быть охарактеризована ограниченным числом признаков, которые позволяют упорядочить это множество, то есть представить его как систему противопоставленных друг другу подмножеств или типов с относительно устойчивыми характеристиками.

Стремясь к ограничению реального многообразия, пестроты фактов, научное описание должно сопоставить этому множеству свою типологическую схему, где каждый тип будет определяться заранее оговоренным набором признаков – переменных. Именно так строится, например, фонетическое описание русских согласных, для которого оказывается достаточным четырёх «координат»: место образования, способ образования, участие голосовых связок, наличие или отсутствие палатализации. Чтобы описать речевые процессы, сведя их разнообразие к малому числу чётко противопоставленных типов, нужно задать подобные «оси координат», то есть перечислить те общие признаки, «категории», которые организуют речевую ситуацию как таковую, а затем указать те значения (переменные), которые соответствуют каждой координате.

Чтобы выделить эти общие категориальные характеристики, рассмотрим сначала простейшую, элементарную речевую ситуацию, простейший речевой акт – разговор двух людей.

Представим себе, что двое знакомых подходят к остановке автобуса. Один из них, более дальновзоркий, говорит другому: «Смотри, твой автобус идёт, беги!» Второй машет рукой и бежит к автобусу.

Что в этой банальной ситуации может быть существенно? Какие её признаки могут быть или не быть, а какие обязательно должны быть, чтобы общение произошло?

Ясно, что если бы к остановке шел только один человек, а не два, никакого разговора бы не произошло. Два человека – это тот минимум, который совершенно необходим для общения. Назовём их Говорящим и Адресатом. И условимся, что это не имена людей, а имена ролей в процессе общения. Эти роли могут меняться и обычно регулярно меняются в диалоге: Говорящий становится Адресатом и снова Говорящим. Однако для того, чтобы общение осуществлялось,

необходимо, чтобы эти роли «игрались», исполнялись кем-то, а для этого необходимо как минимум двое людей.

Конечно, бывают случаи, когда человек разговаривает сам с собой. Но это почти всегда воспринимается как аномалия, как признак нервного или психического расстройства, сильного возбуждения и т.д. Во всяком случае, подобная ситуация никак не может быть названа «простейшей» речевой ситуацией. Она гораздо сложнее той, в которой участвуют двое нормальных людей.

В нашей ситуации это были двое знакомых. Но для факта общения это совершенно необязательно. Несущественно и то, что они идут к остановке: разговаривать можно и сидя, и стоя, на улице и в помещении. Однако этот аспект ситуации может меняться всё же не беспредельно. Так, например, если бы наши знакомые купались в море и при этом один из них нырнул бы или стал бы тонуть, разговор между ними сразу же стал бы невозможным. Водная среда непроницаема для звуковых волн, во всяком случае в той мере, в какой это необходимо, чтобы наши органы слуха могли уловить речевые сигналы.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, кроме наличия как минимум двух людей, общение с необходимостью предполагает второе условие: **наличие канала связи**. В простейшем случае таким каналом является воздух, в котором распространяются звуковые волны, несущие информацию. Эти волны создаются движением органов речи Говорящего и принимаются органами слуха Адресата. Поскольку эти природные приёмник и передатчик всегда при нас, мы можем не замечать их, как не замечаем воздуха. Но как только мы окажемся в специфических условиях, исключающих или даже просто затрудняющих использование этого естественного канала, мы сразу же ощутим его значимость в речевой ситуации. Например, если наш собеседник плохо слышит (пускай он не глух, но на нём шапка-ушанка со спущенными ушами), получится ли у нас разговор? Очевидно, общение будет затруднено. Канал связи заблокирован.

Третьим условием, которое также строго необходимо, чтобы общение осуществилось, является **единство языка**, то есть того кода, той системы, из которой Говорящий черпает элементы для построения своего высказывания и к которой Адресат обращается для анализа звукового потока, воспринимаемого его слухом, для извлечения из этого потока переданной ему информации.

В нашей простейшей ситуации люди, вступившие в разговор, естественно мыслятся как члены одного языкового коллектива, говорящего на своём родном языке. Конечно, такое полное единство языка не обязательно, чтобы разговор состоялся. В принципе, один из собеседников может быть иностранцем, представителем другой

народности; могут и оба говорить на не родном для них языке, которым оба они владеют не в совершенстве. Например, в России бурят и калмык при встрече в Москве или в другом месте, не владея языками друг друга, будут говорить по-русски, даже если владеют им не блестяще. Диапазон общения в такой ситуации будет существенно ограничен, затронуты могут быть далеко не все темы, о многом придётся говорить поверхностно. Но в меру владения собеседников некоторым общим языковым кодом разговор состоится. Сейчас русский, немец, француз, японец, араб, встречаясь на конференциях или контактируя в деловом мире, в качестве языка-посредника используют английский. Но если двое людей не имеют общего языка, который стал бы посредником между ними, разговор невозможен.

Четвертое условие, которое определяет собою ситуацию речевого общения, — это **наличие стимула**, побуждающего людей вступать в общение, то есть наличие каких-то причин и целей, достигаемых этим способом. Естественно предположить, что если люди разговаривают, то какой-то стимул к общению у них был, ибо в противном случае они бы молчали. Конечно, конкретные стимулы могут бесконечно варьироваться. Человек может сказать: «Налейте мне чая», — потому что он хочет пить. Тогда Адресат выступает как средство удовлетворения собственной потребности Говорящего. В другом случае он говорит: «Беги!» — видя, что Адресату, а не ему самому, угрожает опасность; в нашем примере — опасность опоздать на автобус. Это «обратная» ситуация, когда целью высказывания является благо другого, а причиной — забота о нём Говорящего. Но гораздо чаще причина и цель выступают нерасчленённо и слабо осознаются самими участниками речевой ситуации.

Сейчас мы имеем в виду простейшую речевую ситуацию. Что можно сказать о простейших причине и цели? Мне кажется, что как раз для простейшего случая этот причинно-целевой комплекс можно принять как имеющий «нулевое значение». Нередко мы говорим потому, что нам хочется говорить, хочется рассказать какой-то случай, поделиться увиденным и услышанным. Люди получают удовлетворение, удовольствие от самого процесса говорения: вспомним, как критически относятся в обществе к тем, кто «рта не даёт открыть» другим участникам встречи. По-видимому, говорить, «открывать рот» — это ценность сама по себе.

В этой потребности говорить, делиться своими переживаниями, советоваться (нередко с людьми малознакомыми и малокомпетентными в том вопросе, с которым к ним обращаются, или для того, чтобы поступить совершенно иначе, подчиняясь собственному внутреннему голосу) остаётся много неясного, непонятного. Но надо сказать, что природа других социальных потребностей нам не более ясна.

Что заставляет людей тянуться к определённым эстетическим переживаниям, какова природа эстетического наслаждения? Какова подоснова этических переживаний, что такое чувство справедливости? Вероятно, потребность в общении, потребность разделить свои мысли и чувства с обществом, а может быть, и получить от общества положительную на них санкцию, заложена, вмонтирована в структуру личности человека как социального существа, как элемента, клеточки социального организма.

Рассмотренную нами простейшую речевую ситуацию можно изобразить следующей схемой:

Схема 2



Итак, перечислим те аспекты простейшей речевой ситуации, которые являются строго необходимыми для всякого речевого общения:

1. Наличие человеческого коллектива, в котором происходит общение. В простейшей ситуации это два человека, находящиеся в непосредственной близости друг от друга. В принципе, их может быть и гораздо больше и они могут быть в разной мере и в разных смыслах разобщены.

2. Наличие канала связи. В простейшей ситуации это воздушная среда и органы нашего тела, посылающие и принимающие звуковые волны. Но возможно использование для передачи сообщений и различных других каналов, естественных или, что наблюдается чаще, искусственных.

3. Наличие языкового кода, общего для Говорящего и Адресата. В простейшем случае это полное единство языка, родного для обоих собеседников. Но возможны более сложные многообразные ситуации, когда общение происходит при частичной, неполной и даже минимальной языковой общности, когда собеседники вынуждены прибегать к языку-посреднику и т.д.

4. Наличие стимула общения. Простейшим стимулом следует, видимо, считать прямую цель, которая реализуется в действии: «Беги!»

– и Адресат бежит; «Дай мне это!» – и Адресат даёт или отказывается дать. Но возможны и гораздо более сложные стимулы и комплексы стимулов.

Мне хочется особенно подчеркнуть, что выше мы рассматривали именно **естественную** ситуацию, в которой не было ничего искусственно созданного. Воздух, который необходим нам безотносительно к тому, говорим мы или молчим; органы нашего тела в качестве приёмника и передатчика; первичная, естественная социальная потребность в качестве стимула – это естественные, первичные связи, которые определяют собою эту простейшую ситуацию. В современном обществе с его развитой, богатой и сложной системой коммуникации мы регулярно сталкиваемся с гораздо более сложными вариантами общения, с речевыми ситуациями, которые характеризуются разнообразными «разрывами» естественных связей.

§2. Усложнение речевых ситуаций

Разнообразие субъектов общения

Две роли, необходимые для общения, в простейшем случае исполняемые двумя индивидами, могут исполняться и **коллективами**. Коллективом может быть и Адресат, к которому обращается один Говорящий – например, лектор обращается к аудитории с сообщением и с вопросами; коллективом может быть и Говорящий, обращающийся к одному Адресату и к Адресату-группе. Когда судья объявляет подсудимому решение суда, он говорит от лица, от имени коллектива.

По личному опыту каждый хорошо знает, что изменение структуры субъектов речи существенно сказывается на структуре и качествах самого общения: диалог, типичная форма общения двух людей, уступает место монологу; короткие реплики сменяются длинными, сложно организованными синтаксическими построениями. Характерно и то, что роли в таком общении оказываются закреплёнными: роль лектора, преподавателя в аудитории, как роль Говорящего, координирована с ролью аудитории как коллективного Адресата; кто-то из аудитории может, задав вопрос, выйти из состава Адресата речи, стать Говорящим. Но аудитория как коллектив роли Говорящего принять не может.

Другая, в известном смысле обратная ситуация складывается при естественном увеличении числа участников речевой ситуации, входящих в неё как равные. В этом случае диалог превращается в полилог, роли Говорящего и Адресата постоянно переходят от одного участника полилога к другому, нередко происходит ранжировка Адресатов – прямой, первый Адресат реплики может противопоставлять-

ся второму, более отдалённому, и эти роли тоже меняются, например: «Маша, садись сюда! А ты, Мишенька, помолчи!»

Однако во всех случаях непосредственного общения Говорящий и Адресат остаются совмещёнными во времени и пространстве: они находятся рядом. Если это не так, общение уже нельзя назвать непосредственным. Поскольку при этом предполагается использование одного и того же, первичного канала связи, постольку варьирование структуры субъекта общения, понимаемого как один коллектив, расщеплённый на роли, ограничивается возможностями распространения звуковых волн. Однако если мы снимем ограничения, связанные с непосредственным характером общения, и примем во внимание реальное разнообразие каналов общения, о котором говорили выше, то увидим, что усложнение форм общения тесно связано с варьированием отношений между Говорящим и Адресатом, с изменениями внутренней структуры субъекта общения.

Особенно широкие возможности представляет в этом плане письмо, использование которого порождает огромное многообразие специфических речевых ситуаций. Конечно, возможны и такие виды письменного общения, которые довольно близко воспроизводят структуру отношений, типичных для устного диалога, который не может осуществиться из-за очевидных помех. Так, на вокзале в последние минуты перед отправлением поезда провожающие, уже на перроне, «пишут» на стекле пальцем такие же бессвязные эмоциональные слова напутствий, какие две минуты назад говорили в тамбуре. На собраниях, когда нельзя разговаривать, сидящие рядом подружки нередко переговариваются с помощью листочка бумаги, порождая нередко не только текст-диалог, но и текст-полилог. Они пишут примерно то же, что могли бы сказать, только много короче.

Люди, разделённые в пространстве обстоятельствами жизни, тоже пишут друг другу примерно о том же, о чём хотели бы поговорить устно, если бы были вместе. Однако в этом случае отсутствие Адресата рядом с Пишущим уже гораздо заметнее влияет на речевую ситуацию в целом. Общение приобретает ярко выраженный прерывистый характер: момент отправления сообщения ощутимо отличается от момента его получения Адресатом. Одно это уже ограничивает возможности общения: в письмах имеет смысл обсуждать только те вопросы, которые останутся актуальными для Пишущего до момента получения ответа от Адресата. Существенно отличен от говорения и сам процесс писания. Говорение – процесс спонтанный, автоматический; в естественной речевой ситуации фразы возникают как бы сами собой и если и корректируются, что бывает лишь в редких случаях, то с помощью специальных дополнительных фраз-поправок.

Писание совершается в другом, гораздо более медленном темпе, допускает любой длительности «остановки», что открывает сознанию большие возможности для вмешательства в этот процесс. Это вмешательство касается и содержания, то есть обдуманного выбора не столько темы, сколько деталей, заслуживающих упоминания, и, разумеется, формы, то есть сознательного предпочтения одних слов и конструкций другим. Говорение — неконтролируемый, писание же — контролируемый процесс.

Адресат тоже воспринимает написанное иначе, чем услышанное. Дело не только в том, что читаем мы глазами, а слышим ушами. Важнее, что текст можно перечитать несколько раз, можно остановиться на любом месте, подумать, вернуться назад, сравнить написанное раньше и позже. Это позволяет извлечь из текста различную неявную информацию, отличную от той, которая извлекается из интонаций живого голоса, из выражения лица собеседника при непосредственном общении. Оба варианта общения: и устный, и письменный — позволяют «принять», помимо основной, прямо выраженной, много побочной информации. Но информация эта не тождественна. При переходе от одного способа к другому мы что-то теряем, а что-то другое приобретаем.

Однако некоторые существенные черты в структуре эпистолярного общения остаются теми же, что в устном диалоге. Общаются тоже два индивида, и хоть интервалы между репликами удлинились, как удлинились и сами реплики (письма), но связь Пишущего и Адресата осталась бинарной.

Между тем письменная форма общения делает возможными и такие речевые ситуации, когда существенно меняются, перестраиваются и эти аспекты структуры субъекта общения. И характерно, что усложнение структур субъекта осуществляется параллельно с усложнением структуры не только сообщения, но и речевой жизни общества в целом. Всё это процессы, четко коррелированные между собой и в совокупности выражающие и отражающие прогресс, то есть усложнение культурной действительности.

Ярким примером такого усложнения всех параметров речевой ситуации является художественная литература в целом и любое её полноценное произведение в частности. Лев Толстой, автор «Войны и мира», — это Говорящий-Пишущий. Он создаёт текст романа и отправляет его Адресату. Но кто этот Адресат? Очевидно, что это не один человек и не группа лиц, друзей и родственников писателя. Это даже не всё множество современников Автора, русских и читающих по-русски. Это весь русский народ, русская нация — не в узко этническом, а в культурно-историческом и лингвистическом смысле: все

люди, думающие и читающие по-русски, которые жили одновременно с Автором и которые будут жить после появления «Войны и мира».

Работая над художественным произведением, писатель обращается к общенациональной аудитории, ориентируется на вкусы, интересы, потребности многих, лично совершенно неизвестных ему людей; он пишет «для всех» — и тем самым ни для кого в частности. Но для того, чтобы работать, ему необходимо знать, что этот безликий, даже немного таинственный Адресат существует, что написанное до него дойдёт. В этой непосредственно ощущаемой связи Говорящего с Адресатом — необходимое условие всякого общения.

Близко к этому обстоит дело и с литературой научной. Автор научной работы может не знать своих будущих читателей. Он может абстрагироваться от них гораздо полнее и глубже, чем писатель-художник, потому что он апеллирует не к чувствам, не к жизненному опыту читателей, а только к разуму, познающему суть вещей, логические связи явлений. Но труд, вкладываемый исследователем в описание полученных им результатов, получает субъективное и объективное оправдание только в том случае, если он предназначен какому-то Адресату, тому, кто когда-то и где-то прочтёт этот текст.

Своеобразна ситуация, связанная с ведением дневников. Многие пишущие дневник субъективно убеждены, что пишут «для себя», что их речь в дневнике — это чистый монолог, не имеющий Адресата. Но речи без Адресата не может быть, это аксиома общения. И дневник не является исключением. Даже если оставить в стороне некоторое лукавство многих авторов дневников, которые втайне надеются на то, что написанное будет прочтено («когда-нибудь!») именно тем лицом, от которого дневник особенно тщательно оберегается. Если согласиться с тем, что дневник пишется для себя, то и в этом случае нетрудно заметить различие между Автором и Адресатом. Говорящий — это то «Я», которое существует сейчас, в момент создания текста, которое говорит и чувствует именно так. Это «Я» знает всё, о чём пишет; что-то уясняет для себя в самом процессе писания, вспоминая и сопоставляя детали происходившего. Поэтому написанное не содержит в себе ничего нового для него. Интерес для Автора может представлять и не содержание, а форма выражения. Но интерес к форме мы сейчас вынесем за скобки: если этот момент становится для Автора релевантным, мы имеем дело уже не с собственно дневником, а с художественным произведением в дневниковой форме. Адресатом «настоящего», «честного» дневника является как будто бы то же «Я» — но это «Я» уже неизбежно другое: между первым и вторым лежит время, через которое должна пройти информация, чтобы стать интересной и важной для Адресата. Создавая новый ин-

интерес к посылаемым сведениям, Время создаёт и нового получателя этих сведений.

В наше время разрывы непосредственных связей между Говорящим и Адресатом во времени и пространстве преодолеваются уже с помощью разнообразных средств и помимо письма. Расстояния гораздо быстрее, чем письмами, преодолеваются радиоволнами. Однако радиоволны, как и звуковые волны, не хранятся во времени. Магнитные и граммофонные записи, лазерные диски, наоборот, способны храниться в течение относительно длительного времени, хотя и далеко не столь долго, как тексты, даже написанные на обычной бумаге. Но в пространстве магнитные ленты и пластинки перемещаются со скоростью обычного транспорта. А последние достижения — электронная почта, интернет — открывают новые возможности и перспективы хранения, обработки и обмена информацией.

Очень существенно, что с развитием технологии общения, то есть сначала с переходом от «рукописания» к разным способам тиражирования написанного: к печати, а затем и к другим, все новым техническим способам передачи и хранения звучащей речи — возникает и развивается то социально-семиотическое явление, которое сейчас называют «массовой коммуникацией». У понятия «массовая коммуникация» много разных аспектов, но в данном контексте мне кажется существенным то, что Адресат мыслится как масса. Понятие массы не совпадает в этом случае с тем понятием, представлением об общенациональной аудитории, о котором я говорила как об Адресате художественной литературы. Эта общенациональная аудитория мыслилась как состоящая из множества индивидов, тогда как «масса» представляется собирательным субъектом, более компактным и гораздо менее расчленённым «потребителем информации», причем информации малоинформативной, поскольку она рассчитывается на «среднего потребителя», уровень культуры которого заведомо не высок.

Интересные изменения происходят в связи с этим и «на полюсе» Говорящего. Звуковая речь чисто технически предполагает одного Говорящего, Говорящего-индивида. Хором только поют. Писание — рукой — тоже предполагает индивида, хотя здесь уже возникает возможность различного рода «раздвоения ролей». Так, наряду с Автором, может появиться и Переписчик, и Соавтор. Но печатанье, точнее «печать», — это процесс глубоко коллективный. По сути дела, это всегда уже социальный институт, предполагающий сложную систему дифференцированных, взаимно противопоставленных социальных ролей.

Уже в первой, исходной точке этого процесса возможны разного рода соавторства, коллективные авторства, фиктивные авторства

(напомним хотя бы Козьму Пруtkова в художественной литературе, в научной литературе под псевдонимом Бурбаки в 60-е годы нашего века публиковали свои работы молодые французские математики). Далее — публикации закономерно предшествует апробация: выступление автора с докладами или с читками, обсуждения, рецензирование, доработка по замечаниям. Затем наступает этап редактирования, корректирования. Даже если текст принадлежит одному, к тому же глубоко уважаемому автору, всё равно, «по пути» от авторского стола к читателю он пройдёт множество инстанций, которые оставят на нём некоторый след.

Но самый сложный и интересный пример «коллективного Автора», случай, который уже никак не вмещается в рамки понятия о соавторстве, — это газета. Обезличенный, коллективный, «массовидный» Автор газеты особенно рельефно корреспондирует с массовой аудиторией — Читателем.

Конкретные отношения между Говорящим (Автором) и Адресатом могут быть, как видим, очень разнообразными. Обе эти роли, не теряя взаимной противопоставленности, могут выполняться одним лицом, как в случае с дневником. Каждая из этих ролей может выполняться и коллективами: от сравнительно небольших групп типа соавторских коллективов, до очень широких, открытых множеств, потенциально включающих всю нацию, как Адресат художественной литературы, как Читатель газеты (а в известном смысле и как Автор газеты, поскольку потенциально каждый член нации при желании может обратиться в газету со статьёй, письмом, вопросом, и его текст может быть опубликован).

При этом неизменным условием общения остаётся наличие у всякой речи, кроме Автора, который её произносит или порождает другими способами, также и Адресата, на которого она ориентирована. Человек не стал бы, не мог бы ни говорить ни писать, если бы не знал или хотя бы не надеялся на то, что слова его рано или поздно дойдут до других людей, до человечества.

Разнообразие каналов связи

В обыденном языке слово канал понимается как «искусственное русло, наполненное водой», как «всякое узкое длинное полое пространство внутри чего-либо, в виде трубы, трубки» (*канал ствола*) и, переносно, как «путь, средство для достижения чего-нибудь», например: «*избрать для переговоров дипломатические каналы*».

Если мы хотим использовать это слово как термин, то должны вложить в него новый смысл, в обычном языке ему не присущий. В нашем контексте под каналом удобно понимать **конструкцию, которая включает в себя материальную среду, через которую передаётся сообщение, передатчик и приемник.** Единство этих ком-

понентов составляет канал. Говорить о воздухе как о канале было бы бессмысленно, если бы не имелись в виду голосовой аппарат Говорящего и слуховой аппарат Адресата речи. Компонентом канала связи воздух становится тогда и поскольку, когда и поскольку он соединяет передающее и принимающее устройства. С этой точки зрения оказывается несущественным то, что звуковые волны распространяются в воздухе не по прямой, а круговым образом.

Понятно, что этот канал может действовать только в том случае, если все его компоненты налицо и исправны. Общение становится невозможным, если повреждён приёмник или передатчик: человек, у которого ампутирован язык, не может издавать членораздельных звуков; глухой не может слышать того, что ему говорят (в том числе и себя, поэтому из глухоты закономерно следует и немота). Ясно, что устное общение становится невозможным и тогда, когда на пути воздушных волн возникают преграды: порывы ветра, стена.

Этот канал – не единственный, который используют люди для передачи сообщений. Каждый канал характеризуется своими передатчиком и приёмником, своей средой. Не будем пока говорить о письменной речи, которая предполагает весьма сложную структуру канала. Укажем на такие специфические формы общения, как речь глухонемых, передающих сообщения с помощью жестов. Своеобразие этой системы общения тесно связано со структурой канала связи: «органом речи», передатчиком являются здесь прежде всего руки, приёмником – глаза.

Как в и ситуациях устного общения, и приёмник и передатчик здесь естественные – это органы тела. Передающая среда тоже как будто та же – воздух. Но используется другое его свойство – прозрачность, проницаемость для световых, а не звуковых волн. Поэтому и помехи здесь имеют другую природу: стекло мешает слышать, но не мешает видеть, а туман наоборот.

Высказывалась гипотеза, согласно которой первичной формой общения людей были именно жесты, на смену которым позже пришли звуки. Естественный характер канала является одним из аргументов в пользу того, что это возможно. Но, конечно, это слишком сложный вопрос, который требует всестороннего серьёзного обоснования и доказательства. У некоторых современных народов: аборигенов Австралии, северно-американских индейцев – существуют языки жестов, которые используются в специфических обстоятельствах, но основным средством общения у всех народов Земли является звуковой язык.

Жесты, тем не менее, издревле сопровождали звуковую речь; весьма возможно, что они так же древни, как звуковой язык. Очень показательным, что в каждом языке встречается немало выражений,

которые являются «переводами» жестов, их описаниями, принимающими на себя значение жеста. Например, по-русски: *кивнуть* (головой) значит 'согласиться', тогда как по-китайски, наоборот, 'отказаться'; *махнуть рукой* для нас 'попрощаться', или 'перестать действовать в каком-то направлении, потеряв надежду на успех', *топнуть ногой* – 'рассердиться' и т.д. Очевидно, что эти жесты появились, употреблялись раньше, чем возникли соответствующие им словесные формулы. Однако это ещё не достаточное основание для того, чтобы утверждать, что языки жестов предшествуют во времени языкам слов (звуков), а не каким-то конкретным словам и выражениям.

Многие системы связи, предполагающие использование как обычного языкового кода, так и некоторых других семиотических систем, рассчитаны на использование искусственных устройств, заменяющих естественные, то есть органы нашего тела, или усиливающие их, выступающие в роли посредников, промежуточных звеньев сложных каналов. У примитивных африканских племён, как известно, использовался «там-там»: сигналы передавались с помощью своего рода барабанов, звуки которых, мерные, ритмичные, разносили информацию гораздо дальше, чем мог бы быть услышан человеческий голос.

Подобной же цели служат и гораздо более примитивные приспособления, используемые современными высококультурными обществами: я имею в виду свистки милиционеров. В этом ряду заслуживают упоминания и перестукивания заключённых в тюрьмах. Средой, передающей информацию, является здесь твёрдое тело, стена; передатчиком – рука заключённого, возможно, с каким-либо усилителем, приёмником – ухо.

Это, конечно, частные, специфические системы передачи сообщений. Несопоставимо большее значение в жизни современных народов играют другие системы, предполагающие использование искусственных каналов, организованных в соответствии с последними достижениями техники: радио, телефон, телеграф, интернет, компьютерные сети, телевизор, грампластинки, лазерные диски и другие устройства, использующие электромагнитные колебания.

Может показаться, что мы уходим от проблемы «язык и речь», что технические проблемы устройства радиопередатчиков и приёмников, телефонов и телевизоров, грампластинок, магнитофонов и видеоманитофонов не имеют к ней близкого отношения. Но связь между этими проблемами есть, и довольно тесная.

Совсем не случайно в 60-70 гг. американские телефонные компании вкладывали солидные капиталы в лингвистические исследования. Ёмкость каналов связи, в частности телефонных, должна рассчитываться с учётом особенностей языкового кода, используемого

при конструировании сообщений, которые будут передаваться по этому каналу.

Лингвистические исследования (оплаченные американскими телефонными компаниями) выявили и обратную сторону этой связи: люди, разговаривая по телефону, используют немного другой язык, чем в естественной устной речи. Они употребляют значительно меньше разных слов, чаще подают реплики, не несущие информации, кроме той, что «я слышу», «я на проводе», многократно повторяют наиболее значимые фразы и их части. «Телефонный язык» отличается от обычного и в некоторых других отношениях. Вряд ли надо напоминать о специфике «телеграфного языка»: платность каждого слова ведёт к жёсткой экономии, из речевой цепи выбрасываются знаки препинания, предлоги, элиминируются эпитеты и всё, что может быть оценено как излишество. Есть даже выражение — «телеграфный стиль».

Остановимся теперь на том канале, который представляется мне особенно сложным, хотя в техническом отношении он как раз довольно прост — на канале, по которому передаются письменные сообщения.

Письменная форма является второй важнейшей формой существования естественных языков. Во всех цивилизованных обществах она дополняет собою звуковую речь, выполняя целый ряд ответственных функций. Цивилизация немыслима без письма. Воздушные волны, производимые органами речи, распространяются на очень ограниченное расстояние и совершенно не способны храниться во времени. Эти два очень существенных ограничения преодолеваются человечеством благодаря тому, что в его распоряжении имеется письмо. Потребность передавать сообщения на значительные расстояния в пространстве и транслировать их во времени возникла в человеческом обществе уже в очень глубокой древности, почти изначально. По мере развития общества она становилась всё острее. Поэтому люди во все времена настойчиво искали способы преодолеть эти ограничения, используя другие каналы связи.

Фундаментальное решение этой проблемы, найденное человечеством, — это письмо. Важнейшая особенность письменной формы общения по сравнению с устной заключается в том, что продукт речи, сообщение, получает здесь отдельное, относительно самостоятельное и длительное существование. Он отрывается от общающихся людей, причём, в сущности, в равной мере и от Говорящего, которого в этом случае правильнее назвать Автором, и от Адресата. Этим обстоятельством определяется возможность транспортировать письменные сообщения совершенно теми же способами, которыми транспортируются вообще всякие вещи. Сообщение, письмо может

ехать поездом, автобусом, самолётом, в то время как его Автор сидит дома, а Получатель находится от него за тысячи километров и не знает о посланном ему сообщении. Сообщение может также храниться и передаваться во времени, если оно написано на надёжном с этой точки зрения материале. Надписи на скалах, на каменных стенах проносят заключённые в них сообщения через тысячелетия.

В структуру канала, по которому передаются письменные сообщения, оказываются, таким образом, включёнными сами пространство и время, то есть та «среда», в которой существует материальный мир. Но подробнее о письме и связанных с ним очень сложных и очень интересных проблемах мы поговорим позже. Сейчас важно обратить внимание на разнообразие каналов, по которым могут передаваться сообщения, базирующиеся на естественном языковом коде.

Интересен и другой связанный с этим вопрос — об эквивалентности разных каналов, об их взаимозаменяемости. Так, глухой не может услышать звуков, но он может увидеть жесты, несущие ему то же самое сообщение, которое его сосед воспринял из устной речи. Приятелю, живущему на другом конце города, мы можем передать новость по телефону, а если нет телефона — послать телеграмму или письмо. Конечно, есть заметная разница в скорости, с которой известие дойдёт до него, но сообщение (как нам кажется!) может остаться тем же. Если нужно известить о чём-то многих людей, находящихся в некоторый момент в каком-то пространстве, превосходящем возможности распространения голоса — на вокзале, в крупном универсаме, — сообщение можно передать по местному радио.

Но самом деле, каждый способ передачи информации, каждый канал накладывает определённый, и часто весьма заметный, отпечаток на языковое устройство сообщения. Это становится совершенно наглядным, если вспомнить, что и как мы говорим по телефону, сообщая некоторую новость (например, о рождении ребёнка в семье) — и что и как сообщаем о том же в телеграммах.

Однако сейчас можно отвлечься от этих различий, которых в определённых случаях может и не быть. Так, фраза, продиктованная учителем, остаётся той же самой фразой, будучи записанной учеником на доске (или чернилами, пастой, карандашом в тетрадке многих учеников). Она остаётся той же, что напечатана типографским шрифтом в учебнике, с которого диктует учитель. Она останется той же, если мы запишем её на магнитофонной ленте или грампластинке, если передадим кому-то с помощью азбуки Морзе или произнесём по телефону и так далее.

Возможность и даже лёгкость (нередко кажущаяся) таких замен свидетельствует о том, что для самого существования речи как обмена информацией не особенно существенно, по какому каналу пе-

редаётся сообщение, какую именно или какие именно формы оно принимает в пути. Но *какая-то* физическая реализация сообщения является совершенно необходимой.

В наши дни уже нельзя сказать, что сообщение на всех этапах своего движения к Адресату существует в исходной форме и даже шире – в форме, доступной для восприятия нашими чувствами. Известно, что оно может проходить и такие стадии, на которых его могут «считывать», трансформировать и передавать дальше лишь механические устройства. Но «на выходе и на входе» оно должно принимать форму, чувственно воспринимаемую человеком. Это необходимое условие речевого процесса, отличающее внешнюю речь, речь как общение, от внутренней речи, которая остаётся замкнутой в самом субъекте. В голове у Говорящего может сложиться сколь угодно чёткое, структурно оформленное предложение, например, «реплика», которую он хочет передать, дожидаясь паузы в общем споре. Но без физического воплощения – в звуки, жесты, в графические значки – эта реплика никогда не выйдет за пределы его сознания. **Речь – это именно обмен информацией, а условием обмена является выход мысли за пределы породившего её сознания.**

Как уже говорилось, структура канала определяется не только средой, но также **устройством приёмника и передатчика**. Приёмником для письменного текста являются наши глаза (иногда усиленные очками, лупой). Они «снимают» текст, графические значки с того материального предмета, на который они нанесены. Передатчиком в процессе письма является человеческая рука – но, в отличие от жестикулирующей руки, она обязательно должна быть «вооружена» орудием письма. Это может быть стило, карандаш, гусиное перо, авторучка, нож или палочка; это может быть пишущая машинка или компьютер. Но человеческая рука без какого-либо из этих орудий не приспособлена для того, чтобы создавать тексты.

Для получателя текста довольно безразлично, что представляет собою материал, на котором написан текст. В наше время это почти всегда бумага; она может быть разного качества. Мы раздражаемся, читая текст на плохой бумаге, ибо это требует от нас напряжения. Точно так же раздражает (ибо затрудняет нас) плохой почерк пишущего, кляксы и пр. Но если текст нам важен и интересен, мы легко подавляем раздражение и вскоре забываем об этих мелких неудобствах. Сообщение, заключённое в тексте, и его материальная природа – совершенно разные вещи. Тем не менее без этой своей материальной стороны текст существовать не может.

Эта «фактура текста» и специфика орудия, с помощью которого рука наносит графические значки, непосредственно взаимосвязаны. Сейчас существенно не то, как именно они связаны, а то, что и ору-

дие и «фактура», каковы бы они ни были, специально сделаны или «подогнаны» человеком для данной цели. Это артефакты, искусственные предметы, и потому их участие в структуре канала сразу же противопоставляет данный канал всем естественным, не предполагающим участия никаких орудий.

Мы уже говорили, что даже телефонная форма связи, не требующая ни от Говорящего, ни от Адресата каких-либо специфических речевых действий (набор номера, реакция на телефонный звонок – действия, предшествующие телефонному речевому общению), оказывает определённое воздействие на используемый ими код. Естественно предполагать, что и письменная форма общения связана с модификацией языкового кода. Конечно, мы пишем иначе, чем говорим: предпочитаем нередко другие слова и выражения, по-другому строим фразы, по-иному, более чётко и строго, структурируем их, используя знаки препинания и т.д.

Относительное единство языка

Акт речи можно считать завершившимся только тогда, когда общение, организованное Говорящим в соответствии с намеченной целью общения и определённым способом, с помощью определённых средств «овеществлённое», достигшее Адресата и воспринятое им при помощи соответствующего устройства (органа чувств), пройдёт последний отрезок своего сложного пути – уже целиком локализованный в мозгу Адресата. Я имею в виду **понимание сообщения**.

Процесс понимания можно представить себе как обратный, зеркально-симметричный по отношению к процессу порождения высказываний. В процессе порождения речи Говорящий идёт от реальной ситуации, которая дана ему в непосредственном созерцании. Однако непосредственное созерцание следует понимать широко: оно включает и внешнее, и внутреннее «видение» ситуации. Действительно происшедшее событие замещается воспоминанием, которое постепенно тускнеет и подвергается перестройке, часто независимо от воли и сознания индивида – но воспоминание остаётся для него несомненной реальностью. Однако от таких достоверных (для самого индивида) воспоминаний о реально бывшем мало чем отличается «реальность» сновидений, о которых мы утром рассказываем близким, или фантазий, вымыслов, которыми люди иногда забавляют, иногда дурачат друг друга и которые, с другой стороны, входят в золотой фонд культуры в форме художественных произведений. При всём различии этих случаев сейчас их можно рассматривать как единство, которое мы называли субъективно данной реальностью.

Разного вида знания, которые накапливаются на протяжении жизни, информация, полученная из книг и газет, интериоризированы членом коллектива и в нужный момент извлекаются из памяти, все

это составляет «реальность» для каждого члена общества и его внутренний мир.

Тот фрагмент этой реальности, который в данный момент актуален для него, о котором он хочет сказать или написать, Говорящий автоматически членит на тему (о чем?) и рему (что?), кодирует выделенные элементы мысли знаками языка, соединяет эти знаки по правилам языка, затем перекодирует их с помощью фигур выражения, фоном, которые реализуются в форме звуков.

Адресат, наоборот, получает только цепочку звуков. В этом звуковом континууме он должен распознать фонемы данного языка и их объединения, соответствующие словам, точнее определенным грамматическим формам слов, из которых строится связная речь и ее органические составляющие – предложения. На основании связей слов в предложении Адресат сможет восстановить, реконструировать связи между вещами, их признаками и процессами, в которые они включены, извлечь информацию, заключенную в предложении.

Итогом этой мыслительной работы – анализа речи – должен быть синтез, построение целостного представления, отображающего, воссоздающего социально значимые контуры той ситуации, которую непосредственно созерцал Говорящий. Такое представление является результатом уже не анализирующей, а синтезирующей работы сознания. Разумеется, эта «реконструкция» не может быть точной копией того представления, которое осталось в сознании, в памяти Говорящего. Как бы подробно ни рассказали мы кому-то о внешнем облике незнакомого Адресату человека, он никогда не сможет представить его себе именно таким, каким его знаем мы. Но это не важно с точки зрения реальных целей и задач человеческого общения. С помощью языка (речи) мы можем передавать только те признаки, параметры ситуаций, которые ощущаем как социально значимые. Детализация информации необходимо предполагает удлинение знаковой цепочки, несущей эту информацию, и это обстоятельство полагает предел самой нашей потребности в уточнении.

Декодирование речевых сообщений на всех своих этапах с необходимостью предполагает языковую общность между собеседниками, то есть знание Адресатом того языкового кода, который использован Говорящим, а также наличие у него некоторого представления о тех реалиях, которые подразумеваются под использованными в общении знаками.

В принципе, здесь возможны две диаметрально противоположные, полярные ситуации:

а) Адресат полностью владеет кодом, который использован Говорящим. В этом случае процесс декодирования и понимания сообщения полностью автоматизирован;

б) Адресат не владеет этим языком. В этом случае понимание не имеет места. Говорящий слышал звуки, но заключенная в них информация прошла мимо него.

Между этими крайними точками располагается множество промежуточных возможностей, множество речевых ситуаций, которые характеризуются неполным, частичным пониманием, которое обусловлено неполным владением данным кодом со стороны одного или обоих собеседников.

Даже в пределах одного языка выделяется множество подязыков, которые соответствуют территориальным, социальным, профессиональным и другим группировкам внутри данного общества. Не только «большие» языки, как русский, немецкий, китайский, членятся на множество территориальных диалектов, но и сравнительно небольшие, и совсем небольшие языки. В составе алтайского языка, на котором сейчас говорят около 60-ти тысяч человек, представлено пять крупных территориальных диалектов, и некоторые из них претендуют сейчас на статус самостоятельных языков. Несколько диалектов, с дальнейшим подразделением на говоры, объединяющие всего лишь по несколько сёл, иногда представленные даже говором одного поселения, представляют такие языки, как эвенкийский, хантыйский, селькупский, корякский и многие другие.

Социальные и профессиональные диалекты в большей мере характерны для языков, носители которых находятся на относительно высоких ступенях социально-исторического развития.

Диалектные различия в определенных ситуациях, в некоторых странах, в определенных эпохи могут оказаться помехой для взаимного понимания. Так, в Германии значительные диалектные различия между разными регионами, землями, могли бы представить серьезные трудности для жителей других регионов. Но поскольку наряду с диалектом каждый немец владеет и литературным языком, диалект остаётся «частным» средством общения, это не создаёт помех в общенациональном общении.

Сложнее обстояло дело в 50-е годы в Китае. Различия между диалектами Севера и Юга, Пекина и Нанкина, были очень существенны: житель Пекина, «Северной столицы», совершенно не понимал жителя «Южной столицы», Нанкина. А единый литературный язык только начинал формироваться, перестраиваться в ориентации на пекинский диалект.

Территориальные диалекты русского языка не были столь различными, чтобы исключить взаимное понимание. Но в истории русского языка был период, когда различия между социальными диалектами создавали такую опасность. Это было в начале прошлого века.

Эта ситуация очень живо описана В.В. Виноградовым в «Очерках по истории русского литературного языка XVII-XIX веков».

Но даже в гораздо более обычных условиях, вплоть до внутрисемейного общения, общения в рамках определённых профессиональных и социальных групп, можно обнаружить элементы несоответствия между языковыми кодами отдельных лиц. Разговаривая с детьми, с людьми другого, меньшего уровня образования, с представителями старшего поколения каждый человек ощущает определённые ограничения в выборе слов, в построении предложений. Даже беседуя с людьми своей профессии, своего пола и возраста, мы нередко бываем «задеты» употреблением слов не в том или не совсем в том значении, не в той форме, как сказали бы мы: *картофелька*, *картошечка* вместо *картошка*, *творог* вместо *творог*, *крапива* и *крапива* и т.п.

Гораздо больше таких несоответствий возникает при общении носителей литературного языка с носителями диалекта и, разумеется, ещё гораздо больше, если Говорящий и Адресат — носители разных, хотя и родственных языков: русского и украинского, азербайджанского и татарского, монгольского и бурятского. Чем менее родственны языки, тем труднее налаживается взаимное понимание: русский легче поймёт украинца, чем болгарина, ещё труднее достичь взаимного понимания с чехом или поляком, а с литовцем и латышом без специального обучения его достичь вообще невозможно. Не приходится говорить о таких языках, как немецкий, французский, английский: хотя все они родственны русскому языку и восходят к общему предку — индоевропейскому праязыку, выучить эти языки настолько, чтобы непосредственно понимать звучащую речь и говорить так, чтобы тебя понимали, удаётся только ценою многолетних усилий (если, конечно, это не второй язык, освоенный с детства).

Во всех случаях, когда владение данным языковым кодом у Говорящего и Адресата заметно не совпадает (когда сами коды не совпадают, но лишь существенно пересекаются, или же когда для одного из собеседников данный язык чужой и он владеет им лишь частично), процесс общения, взаимопонимания усложняется за счёт того, что Адресат соотносит элементы услышанных им фраз с элементами родной языковой системы. Специфические, в точности не известные ему формы он стремится интерпретировать, опираясь на известное, а это прежде всего родной язык с его привычными закономерностями. Если языки близкородственны, он может опираться на внешние признаки форм, на звуковое сходство их с формами родного языка. Если языки не родственны или родственны отдалённо, как русский и английский, бессмысленно искать объяснения чужим формам в формах своего языка. Но это вовсе не значит, что, стремясь к пони-

манию, человек не будет обращаться к нему и что родной язык ему ни в чём не поможет и ни в чём не повредит.

В процессе обучения, освоения второго языка у человека устанавливаются смысловые соответствия между формами этого языка и формами родного языка, и собственно понимание осуществляется в формах последнего. Людям вообще свойственно понимать менее знакомое через более знакомое. Ярким тому свидетельством является внутриязыковой перевод: *десница* — это *правая рука*, *ланыты* — это *щёки*. Но на вопрос, что такое *шея*, никому не придёт в голову отвечать «это то же самое, что и *выя*». Чтобы понять высказывание на чужом, слабо освоенном языке, человек обычно переводит его на родной. Не будем сейчас касаться методических и теоретических проблем, связанных с ролью перевода в процессе обучения. Есть немало противников перевода, есть «прямые методики», ориентированные на то, чтобы если не исключить, то минимизировать перевод в обучении иностранному языку. Но я сейчас хотела отметить только тот факт, что обычно общение между носителями разных языков в случае неполного владения одним из них языком другого опосредуется переводом.

Непосредственным общением обычно называют общение двух или нескольких находящихся рядом людей, опосредованным — общение людей, разъединённых какими-либо преградами, для преодоления которых используются определённые технические средства, материальные предметы (карандаш и бумага, телефонный аппарат, радиопередатчик и приёмник и т.п.). В контексте «разноязычия», несовпадения и неполного совпадения языковых кодов общение тоже теряет свой непосредственный характер, хотя люди могут находиться рядом и не прибегать ни к каким техническим средствам.

Опосредованным их общение становится потому, что в него включается незримое дополнительное звено — язык-посредник. Этим посредником чаще всего является родной язык одного из говорящих, но это может быть и третий язык. В нашей стране это русский язык, выступающий как язык межнационального общения. В международном масштабе функцию языка-посредника выполняют несколько языков. В Африке это обычно французский. В Латинской Америке — испанский. Но шире всего посредническую функцию выполняет английский. Но поскольку не англичане (шире — представители не англоязычных народов) редко владеют английским в совершенстве, постольку и в этом случае родные языки говорящих находят себе место на правах «вторых посредников» в процессе взаимного понимания. Разумеется, при полном (относительно полном — свободном) владении говорящих двумя и более языками непосредственное взаимопонимание может быть достигнуто на любом из них.

Особо следует остановиться на социальных функциях **письменного перевода**, на его роли в процессе общения. Письменный перевод — очень сложная речевая деятельность, складывающаяся из множества разнообразных операций. Разным образом сочетаясь между собой, они составляют то множество видов деятельности, которое собирательно именуется переводом.

Письменный перевод можно представить себе как процесс фиксации на письме устного перевода. Но это лишь одна из возможностей, на которой нет смысла задерживать внимание. Важнее обратить внимание на те специфические стороны письменного перевода, которым нет аналогии в устном. Работая с письменным текстом, переводчик свободен от тех ограничений во времени, которые так лимитируют устного, синхронного переводчика. Он может привлечь на помощь себе мощный арсенал средств, наработанных обществом, и в частности языкознанием, безотносительно к данному акту перевода. Это прежде всего двуязычные словари, во-вторых, лингвистические описания исходного и переводящего языка: грамматические справочники, одноязычные толковые, синонимические, идеографические и другие словари, словари терминологические, специальные, диалектные и т.д. Значение этих средств в современном обществе трудно переоценить. Если разработка технических средств связи: телефона, телеграфа, радио — помогает преодолевать физические ограничения, присущие непосредственному общению, то аппарат перевода позволяет преодолевать ограничения семиотические и социальные. Перевод обеспечивает возможность межнационального общения, общения на уровне народов, наций, а не только на уровне индивидов.

Проблемы, связанные с пониманием природы перевода как особого вида лингвистической деятельности, виды перевода и отношения между ними, отношение перевода к другим родам и видам речевой деятельности — эти проблемы в век информационного взрыва приобретают особую актуальность и заслуживают разностороннего рассмотрения. Но даже беглый разбор этой проблематики, в котором нельзя было бы не затронуть и проблем автоматического, машинного перевода. То, что еще 30-40 лет назад казалось невозможным, сегодня уже реальность: программу перевода с русского на английский можно ввести в любой компьютер. Разумеется, текст будет несовершенен, потребует «доведения», но это огромный шаг вперед. Конечно, автоматический перевод ориентирован на специальные, научные тексты, и предстоит еще большая работа по его совершенствованию и расширению сфер его действия. Это слишком большой вопрос, поэтому я ограничусь тем, что еще раз подчеркну важнейшую роль перевода в преодолении информационных барьеров, являющихся

следствием множественности языков на Земле, в которых существуют и развиваются своеобразные национальные варианты единой культуры человечества.

Помимо сказанного, мне хотелось бы упомянуть ещё об одной не совсем очевидной функции перевода как рода лингвистической деятельности. Перевод есть достаточно сильное средство сближения не только разных культур, но и самих языковых систем. Язык, с которого регулярно делаются переводы, оказывает постоянное и поэтому сильное, как правило, положительное влияние на тот язык, на который делается перевод. Примеры тому — первые переводы христианских текстов на славянский язык, поднявшие его на уровень письменного, цивилизованного языка. Другой пример — осуществленный перед войной перевод романа «Анна Каренина» на якутский язык. Переводчику удалось найти средства для передачи не только реалий, столь далеких от жизни этого северного народа, но и строя мыслей и чувств героев, глубоко раскрытых Толстым.

Целевая функция речи

Мы уже немного касались вопроса о причинно-целевой обусловленности всякого высказывания. Даже применительно к простейшим речевым ситуациям причина и цель выступают как единый, нечленимый комплекс; его можно назвать **стимулом**. Стимул не всегда осознаётся самими участниками речи. Нередко бывает и так, что люди сами не знают, почему или зачем они говорят в данный момент о том-то и том-то. Но если они разговаривают, значит, какой-то стимул к общению у них был. Задумаемся над этим совершенно обычным явлением немножко глубже.

В естественном мире причины определяют собою следствия, предшествуя им во времени. Природа никаких целей перед собою не ставит. Общество — это в каком-то смысле продолжение природы. Оно возникает стихийно, само собой, и нет никого, кто создал бы общество по своей воле, по своему проекту, преследуя какую-то цель. Однако человек как член общества, как принято считать, обладает разумом и относительно высокой степенью свободы. Он не только может, способен принимать волевые решения, но он не может их не принимать. Он постоянно ставит перед собой разнообразные цели, стремится к их достижению, меняет, перестраивает их и соответственно этому перестраивает стратегию и тактику своего поведения. Однако это отнюдь не значит, что целеполагание всегда ясно осознаётся людьми.

Общество — это система несравненно более сложная, чем индивид, отдельная личность. Оно обладает многими интенциями, свойствами, принадлежащими его членам, но в особой, качественно иной форме. К обществу, например, трудно приложить термины «разум-

ный», «мыслящий» и «чувствующий», не метафоризируя этих терминов. Однако существуют совершенно не метафорические термины: «общественная мысль», «общественное сознание», «реакция общества», «общественное негодование» и т.п. Общество способно и к полаганию целей, которые отнюдь не являются усреднёнными целями индивидов; эти цели далеко не всегда индивидам понятны и не всегда разделяются ими.

Цель — это причина, во времени опережающая следствия, которые оказываются в этом случае условиями достижения цели, причём такими условиями, которые специально организуются субъектом, ставящим цель. Если условия не будут организованы должным образом, цель останется не достигнутой. Когда вся цепь окажется в прошлом, мы скажем: не осуществилась причина, и потому не воспоследовали ожидавшиеся следствия.

Вернёмся теперь к вопросу о причинно-целевой обусловленности человеческой речи, конкретных высказываний. Я хочу подчеркнуть целевой аспект этой обусловленности. Он, а не причинный аспект, представляется мне ведущим. Речь, как всякое сознательное действие, совершается прежде всего для чего-то; она несёт в себе информацию из прошлого в будущее, имеет глубокие причинные корни, но устремлена к целям, лежащим впереди. Именно поэтому в речевой ситуации абсолютно необходим Адресат. Это обстоятельство существенно отличает собственно речевые (и даже шире: вообще семиотические) ситуации от других ситуаций, только напоминающих их. Например, человек стонет, когда ему больно — потому, что ему больно; с этой точки зрения не существенно, слышит кто-то его стоны или нет. В определённых условиях как раз боязнь быть услышанным заставляет раненых сдерживать стоны. Люди зевают, чихают, чертыхаются, споткнувшись или разбив что-то, — **потому что, а не для того, чтобы.** И именно потому эти ситуации, связанные с изданием звуков, не являются речевыми ситуациями. Раз нет цели, нет и речевого общения.

Цель речевого высказывания не является чем-то внешним по отношению к самому высказыванию и его субъекту: она устанавливается субъектом и получает непосредственное выражение в высказывании. Выше мы приводили высказывания, предполагающие в качестве цели стимуляцию действий (*Беги! Дай!*). Но в подавляющем большинстве случаев между действием, а точнее и шире — между той ситуацией, в которой адресат сможет реализовать полученную им информацию, и получением этой информации лежит более или менее длинная, а нередко очень и очень длинная, цепь промежуточных звеньев. В течение долгого времени, пока информация хранится в памяти, она подвергается естественному выветриванию, объединя-

ется с вновь получаемой информацией, обобщается и подвергается другим процессам.

В принципе любое высказывание включает в себе информацию о действительности, приобретение которой расценивается индивидами, а через них и обществом, которое косвенно всегда регулирует содержание общения своих членов, как полезная для Адресата, то есть как определённая ценность. Передача информации, в общем случае, оценивается как акция, полезная и для самого Говорящего. При этом, естественно, предполагается, что передаваемая информация правдива, то есть не является дезинформацией. Возможность и реальность дезинформации, лжи и всех её следствий составляет важнейшую этическую проблему общества.

Мы говорили пока об однонаправленной передаче сообщений. Но такая передача — только одна из сторон двустороннего процесса — обмена информацией. Передавая собеседнику что-то важное и интересное для него, мы рассчитываем на получение от него информации, нужной и важной нам, в частности — уточнения самой переданной нами информации, её оценки под тем или иным углом зрения.

Обмен информацией составляет острейшую социальную потребность. Общение — одно из важнейших проявлений жизнедеятельности общества; этот процесс в моих глазах по своей значимости для общества сопоставим с процессом дыхания для каждого живого существа. Информация необходима членам общества, чтобы в разнообразных, заранее непредсказуемых ситуациях принимать целесообразные решения. Обществу же как «социальному организму» необходимо, чтобы его члены действовали согласованно и разумно, чтобы их цели и их действия были координированы.

Поэтому всякая передача информации (но не дезинформация!) между членами общества может рассматриваться как разумная цель, независимо от того, когда и какие действия за этим последуют. Цель, понимаемая в таком широком смысле, является активным началом в структуре ситуации.

Но целевая функция речи в таком широком понимании — очень абстрактное и потому сухое понятие. Хоть мы и будем убеждены, что у каждого Говорящего есть какая-то цель, которую, к тому же, сам он может слабо осознавать, но ведь у разных Говорящих эти цели могут быть совершенно различны. Так же различны могут быть и типы высказываний, стимулированных различными целями.

Общее, стоящее за разнообразием конкретных целей высказывания, я вижу в том, что **цель** — это активное начало в речевой ситуации. Ее можно назвать **стимулом к общению**. В соответствии с одним из типов целей Говорящие говорят: «Налей мне стакан воды!» — а для достижения целей другого ряда садятся писать романы. Чтобы

пользоваться понятиями «цель, целевая функция речи», нужно предварительно как-то упорядочить бесконечное множество различных конкретных целей, свести их к ограниченному числу общих типов, которые можно будет соотносить с определёнными типами речевых ситуаций и высказываний.

Работа эта пока проделана лишь в небольшой степени. Во-первых, все цели можно подразделить на более общие и конкретные. Общие цели определяют собою общий характер общения, а конкретные цели – облик конкретных высказываний.

Цели первого типа, определяющие характер и функцию актов общения, можно классифицировать в зависимости от характера ожидаемой реакции. Цель, в сущности, и есть ожидание определённой реакции Адресата, расчёт на неё. Но эта реакция может быть разной. Во-первых, она может быть вербальной и невербальной, т.е. поведенческой. Высказывание, ориентированное на вербальную реакцию, – это вопрос. Разумеется, типы вопросов могут тоже очень различаться: прямой, косвенный, а также «скрытый»; содержащий предполагаемый ответ и рассчитанный на подтверждение или опровержение, или «открытый», представляющий собою запрос об информации. Например: «*Был ли ты вчера в 4 часа на работе?*» или «*Где ты был вчера в 4 часа?*» Риторический вопрос по своей природе является не вопросом, а особой замаскированной формой утверждения.

Высказывания, не ориентированные на вербальную реакцию, в свою очередь, могут предполагать относительно непосредственную действительную реакцию – или не предполагать таковой. В первом случае адекватной формой высказывания будет побудительная. Каждый язык располагает своим набором побудительных конструкций, с помощью которых передаются разнообразные оттенки побуждения, от категорического приказа (русский инфинитив в функции императива: «*Молчать! Стать прямо!*») до мягкой просьбы, облакаемой формами потенциального, желательного, ирреального наклонений («*Мне бы попить...*»; «*Если бы вы согласились посмотреть мою работу...*»; «*Не позвоните ли вы Зое Ивановне?*»).

Второму типу соответствуют повествовательные высказывания, то есть не вопросительные и не побудительные. Оппозиция между этим типом и двумя первыми, пожалуй, резче, чем между вопросительными и побудительными: вопрос всегда содержит в себе компонент побуждения к действию, и лишь на следующем шаге анализа (классификации) мы различаем «вербальное и невербальное действие».

Повествовательные высказывания, формальные типы которых чрезвычайно разнообразны, предполагают не действительную, а интел-

лектуальную реакцию. Это не исключает, конечно, ни вербальной, ни поведенческой реакции, которая может последовать немедленно по получении информации (например, если получена информация: «*А ты знаешь, твой дом-то горит.*») или через больший или меньший промежуток времени. Однако такая реакция не обязательна, она не предполагается типом повествовательного высказывания.

От этих широких, общих целей общения следует отличать конкретные, локальные цели, определяющие конкретный облик высказываний, фраз. Руководствуясь определённой целью, то есть представляя себе более или менее ясно (вовсе не обязательно совершенно чётко), какую реакцию он хотел бы получить на свои слова, Говорящий соответствующим образом оценивает прежде всего тот кусочек действительности, ту ситуацию, о которой он намерен вести речь. Он должен прежде всего найти в этой действительности тот «момент», который станет для него «точкой отсчёта» развивающихся событий. Эта точка должна быть расположена так, чтобы её можно было принять за данное, известное Говорящему. Этот элемент называется «темой высказывания». «Тема» в лингвистическом смысле, как термин, не то, что называется «темой» в общепринятом смысле. Например, темой (в общем, нетерминологическом смысле) рассказа может быть уличное происшествие, которое наблюдал Говорящий. Но «точкой отсчёта» может быть избран известный Адресату участник этого происшествия: «*Иду я сейчас по набережной и вижу – Сережа Свиридов с какой-то девицей на мотоцикле...*»

Теме высказывания противостоит рема, то есть то новое, что Говорящий сообщает Адресату о теме. Членение высказываний на тему и рему называется актуальным членением. Оно не всегда совпадает с грамматическим членением на подлежащее и сказуемое с зависящими от них словами. Рема может выражаться любым членом предложения или группой членов предложения.

Актуальное членение непосредственно, наглядно определяется целью сообщения. Говорящий интонацией выделяет именно ту часть, те компоненты линейной структуры фразы, ради которых он строит эту цепочку, предпринимает речевое действие.

Грамматическое членение фраз в конечном счёте определяется теми же целями говорения, но гораздо более опосредованно. Грамматика – это одна из сторон языковой системы, которая лишь реализуется в речи. Она предлагает, предоставляет говорящим широкий набор возможностей для достижения самых разнообразных целей, возникающих в процессах общения. Это и различные типы синтаксических конструкций повествовательных предложений, позволяющие по-разному представлять, трактовать одну и ту же ситуацию, не искажая её; и различные синтаксические схемы вопросов, между кото-

рыми говорящие делают выбор, и побудительные конструкции в богатом ассортименте. Достижение целей общения существенно определяется также и отбором лексических средств и выражений, которые правильно, адекватно (с точки зрения говорящего) описывают объект, но одновременно передают Адресату латентную информацию о том, как Говорящий оценивает этот объект и представляет его Адресату.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПИСЬМО – ВТОРАЯ СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

§1. Грампластинка и текст (сходства и различия)

Грамофонная пластинка, как и письменный текст, записанный графическими символами на бумаге или другом материале, представляет собою разные формы и разные степени консервации устной, звучащей речи. Еще один «градус», более высокий, чем графическое письмо, являет собою компьютерная дискета. Все эти способы консервации позволяют сообщению воплотиться в материальном предмете, чтобы двигаться вместе с ним в пространстве и времени, как это свойственно всем материальным телам. В этом состоит то общее, что объединяет эти предметы. Однако различия между ними тоже существенны.

В устной речи, которую можно считать объектом, отображаемым этими разными способами, звуки следуют один за другим непрерывным потоком. Линейность – это общее свойство речи. Но в звучащей – устной речи и в письменной речи – тексте оно реализуется по-разному. Когда мы произносим первый звук будущей фразы, второй и третий ещё не существуют; а когда произносится третий, уже перестали существовать первый и второй. Когда мы воспроизводим грамофонную (или магнитную) запись, воспроизводится и это свойство звучащей речи. Запись можно воспроизводить сколько угодно раз, и каждый раз звуки будут следовать друг за другом, «литься», и мы никогда не услышим их вместе, подобно тому, как слышим оркестр.

Однако пластинка существует и безотносительно к воспроизведению. Она может стоять в конверте на полке; мы можем взять её в руки и рассматривать – даже в лупу. На ней видна бороздка, закрученная в спираль, и мы знаем, что каждый отрезок этой спирали каким-то образом несёт в себе определённые звуки. Конечно, он «несёт» их лишь как возможность, которая реализуется, если мы включим проигрыватель и поставим на него пластинку; если исправная игла по-

падёт в движущуюся ей навстречу бороздку и, повторяя все её изгибы, повторит её «путь» и передаст информацию в механизм воспроизведения. Тогда мы услышим звуки, акустически подобные тем, которые когда-то оставили на пластинке свой след в виде бороздки.

Пока пластинка не включена в этот процесс, мы можем видеть этот след, но не понимаем значения его изгибов и поворотов, то есть не можем сопоставить им те или иные звуки, подобно тому, как, например, музыканты читают ноты. Разглядывая пластинку, мы созерцаем письмена, «читать» которые дано лишь патефонной игле, механическому устройству, но не человеку.

Письменный текст – тоже предмет, созданный человеком, который оставил на бумаге или на другом материале след в виде графических знаков. Как и пластинка, он рассчитан на воспроизведение, то есть на прочтение. Мы можем озвучить графические значки, вытянутые в длинную цепь, если нам известен алфавит данного текста. Но текст, как и пластинка, остаётся самим собою и тогда, когда никто его не читает. И все буквы и их сочетания существуют в нём одновременно – и «беззвучно».

Различия между грампластинкой и письменным текстом так серьёзны и очевидны, что в обыденном сознании пластинка вообще не рассматривается как разновидность текстов, хотя сейчас и говорят уже об устных, а не только о письменных текстах. Но принципиально пластинка, безусловно, сопоставима с текстом: «говорящие письма» люди отправляли родным и знакомым, на пластинках записывали образцы художественной, диалектной, иностранной или обычной разговорной речи. Сейчас гораздо чаще с подобными целями используется магнитофон, а также специально сконструированный для записи устной речи прибор – диктофон, призванный заменить стенографисток.

Первое, сразу бросающееся в глаза отличие грамофонной, магнитофонной и других видов механической консервации речи от письменных текстов состоит в том, что записывающим и считывающим устройством является здесь не человек, а автоматические устройства. Однако все эти устройства придуманы и построены человеком, они работают на человека, а не сами на себя, то есть выступают посредниками между людьми – тем, кто наговаривал текст (Диктором), и тем, кто слушает запись (Аудитором).

При чтении письменных текстов мы обычно обходимся без посредников. Но задумавшись, какие же функции, какие операции при некоторых обстоятельствах мы можем передоверить (и передоверять) разным посредникам, а какие всегда оставляем за собой?

Механизм выполняет за нас задачу достаточно сложную. Она состоит прежде всего в том, чтобы поставить в однозначное соответ-

вие последовательности звуков последовательность другой природы – в нашем случае это определенного вида кривая, представляющая собой последовательность вмятин на материале пластинки. Затем нужно выполнить обратную операцию, то есть сопоставить этой последовательности последовательность «звукокопий». Очевидно, что механизмы никаким образом не причастны к тому, что с этими звуками люди связывают какие-то смыслы. С таким же успехом прибор записывает и воспроизводит все случайные шумы, если они имеют место в помещении, где идёт запись. **Понимание звучащей речи – это такая же прерогатива человека, как и порождение осмысленных последовательностей звуков.**

Функцию посредника, отчасти подобную той, которую мы передаём механизмом, может выполнить и человек, – один или даже два помощника, посредника между Диктором и Аудитором. В прошлом веке неграмотный человек, который, оказавшись в отдалённом от дома месте, должен был передать важную информацию оставшимся дома родственникам, обращался к «грамотею» (для которого это был заработок) и диктовал ему сообщение. А дома его родные просили кого-то прочесть написанное. Такая «переписка через посредников» ещё не так давно была самым обычным делом. Но, сравнивая поведение человека-посредника и посредника-механизма, продукт первой и продукт второй деятельности, можно хорошо понять и почувствовать глубокие различия между ними.

Главное различие состоит, конечно, не в том, кто или что выполняет ту или иную операцию, а в том, как выполняется операция, что она представляет собой. Механизм «фотографирует» звуки, ставит им в соответствие их собственный механический образ. Человек же сопоставляет звучащему сообщению его знаковое отображение. Он использует символы, содержательной стороной которых являются обобщенные представления об основных типах звуков данного языка.

Звуки речи, которые в обоих случаях являются объектом отображения, как мы помним, суть **фигуры выражения** естественных языков. В отличие от языковых знаков, они **не имеют собственного обозначаемого**. Однако полезно уточнить то содержание, которое в этом контексте вкладывается в слово «звук». В общем, физическом смысле звук есть колебание воздуха, воспринимаемое человеческим ухом. Звуки речи – это звуки, произносимые Говорящим с целью передачи некоторого сообщения. Для достижения этой цели каждый язык располагает определённым, конечным и сравнительно небольшим количеством чётко взаимно противопоставленных звукотипов, – фонем, к которым сводится реальное многообразие физических звуков речи. Все те разнообразные в физическом смысле звуки, которые

воспринимает наше ухо, в процессе слушания речи распределяются между фонемами, принадлежащими языку.

В отличие от звуков речи, **буквы – не фигуры, а знаки**. Как всякие знаки, они имеют план выражения и план содержания. Их **означаемым** являются **звуки** (звукотипы, фонемы), **означающим** – **определённые комбинации штрихов**, – вспомним «палочки и крючочки», с которых раньше начиналось обучение письму. Каждый фиксированный в данном алфавите набор (комбинация) штрихов, – например, *л* или *п* в качестве денотата имеет открытое множество разных звучаний. Так, звуки, произносимые мужским голосом, физически явно отличны от звуков женского, детского голоса; звучание каждого человеческого голоса глубоко индивидуально. Но эти различия не отражаются и не должны отражаться в различиях букв.

Стоит заметить, что буквы как знаки, в свою очередь, суть **обобщения многих разных конкретных начертаний**. В современных европейских системах письма печатные буквы сильно отличаются от рукописных, причем и те, и другие варьируют по-своему. В рукописях большие, заглавные буквы нередко существенно отличаются от маленьких – сравним, например: буквы *Б* и *б*, *Т* и *т*, *П* и *п*, а малые буквы очень широко варьируют по почеркам, например, *q* и *q̇* и претерпевают существенные изменения во времени. Почерка конца XIX в., не говоря уже о XVIII и более ранних, существенно отличаются от современных.

Бороздки граммофонной пластинки фиксируют звуки речи «как они есть», то есть именно их физическую реальность. Это я и имела в виду, употребляя глагол «фотографировать». Бороздка, естественно, воспроизводит такое свойство звукового потока, как **недискретность**. Буквенная запись, наоборот, **членит** звуковой континуум на функционально значимые «отдельности», «кусочки», «отрезки». Минимальным отрезком в нашем письме является **буква**, отображающая «отдельный» звук речи, приведенный уже к звукотипу, условно можно сказать к фонеме, хотя в современных системах письма это соответствие нарушается в силу исторических изменений системы фонем и консервативности системы письма. В других системах письма означаемым минимального графического знака может быть слог или другого типа отрезок звучания, соответствующий морфеме.

Дискретный характер графического отображения глубоко отличает письменный текст не только от граммофонной пластинки или магнитной ленты, но также и от самого объекта отображения – от звучащей речи, что, естественно, гораздо важнее, потому что в звучащей речи аналогичные отрезки не вычленяются.

Это обстоятельство, которое на первый взгляд может показаться малозначительным, имеет огромное значение для понимания всей

культурной эволюции человечества, развития цивилизации. Исключительно важен этот момент и для языкознания. Вдумываясь в эту особенность письма, мы можем не только глубже понять взаимные отношения между письмом и звуковой речью, но и ответить на вопрос: почему лингвист, исследуя письменные тексты, относит полученные знания к звуковому языку? Почему текст, а не звуковая речь, был на протяжении веков не просто главным, но исключительным объектом лингвистического анализа? Почему это положение сохраняется в наши дни, когда уже существуют надёжные способы консервации звуковой речи в её подлинной, натуральной форме?

Но прежде чем переходить к обсуждению этих вопросов, закончим нашу аналогию-противопоставление между грампластинкой и текстом и сделаем некоторые выводы.

1. **Общее** между пластинкой и письменным текстом — то, что и то, и другое суть овестьствованные в материале **образы звуковых последовательностей**. Это материальные предметы, на которые тем или иным способом нанесён «след звуков», позволяющий путём определённых приёмов восстановить исходное звучание.

2. **Главное различие** между этими объектами состоит не в том, кто — человек или автомат — устанавливает соответствие между образом и прообразом, а в том, какова природа отображения, его структура, и **какие свойства** отображаемого объекта воспроизводятся или не воспроизводятся в отображении.

Объектом отображения в **грамзаписи** является реальное физическое звучание в полном отвлечении от смысла произносимого. Процесс грамзаписи не предполагает анализа звукового потока, расчленения его на функциональные элементы. **Образ воспроизводит континуумную природу объекта отображения**. Этим способом могут фиксироваться и не семиотические звуковые последовательности: шум дождя, крики животных, индустриальные шумы.

Буквенная запись отображает **семиотическую** природу звучащей речи и имеет **дискретный** характер. Объектом фиксации являются здесь не реальные физические звуки в их индивидуальной неповторимости, а звукотипы, взаимно противопоставленные именно в данной системе. Буквенная запись необходимо предполагает анализ звукового потока под этим углом зрения, выделение в нём тех отрезков, которые соответствуют буквенным символам. Этим способом может фиксироваться только **членораздельная человеческая речь**, то есть звуковой поток, имеющий семиотическую природу, включая условное воспроизведение человеком звуков, издаваемых животными (мяу, муу и др.) и «нефонемных» вкраплений в нашу повседневную речь (ага, угу, гм и т.п.).

3. **Грампластинка** предполагает один **способ воспроизведения — озвучивание**. Звуки, скрытые в изгибах бороздки, возвращают себе натуральную форму, человек слышит их и понимает сказанное.

Письменный текст допускает **несколько** существенно разных **способов реализации**. Важнейшие из них — это чтение вслух и чтение про себя. Чтение вслух в известной мере сопоставимо с проигрыванием пластинки: возможно и такое «чтение на заказ», когда чтец не понимает смысла читаемого (например, чтение секретарем специальной литературы незрячему ученому). Чтение про себя — особая деятельность, не имеющая аналогии в оперировании пластинкой.

4. **Грампластинка** копирует только **физически звучащий объект**. Чтобы отобразиться в записи, он обязательно должен прозвучать. Письменный текст может отображать физически не звучавшее сообщение. **Графические символы** могут сопоставляться (и нередко сопоставляются) не самим отрезкам звучания, а их **психическим прообразам**. Писание в этом случае реализуется как особый вид творческой семиотической деятельности, — в противоположность письму под диктовку.

5. Всё это свидетельствует о том, что **грамзапись**, как и магнитная запись, не имеют знакового характера, хотя объект записи может иметь знаковую природу. Такая запись звучащей речи **знаковому объекту** ставит в соответствие **незнаковое отображение**.

Письмо — это **отображение знаковых объектов в знаковой форме**, с помощью знаков другой семиотической системы. Это значит, что письмо представляет собой **другую, «вторую» знаковую систему**. Именно поэтому лингвист работает со знаковыми отображениями языковых объектов, а не с самими этими объектами, также имеющими знаковую природу. Очевидно, что в процессе записи звуковое сообщение проходит через процедуру особого, слабо осознаваемого пишущим, семиотического анализа. Вторая семиотическая система — письмо обеспечивает сообщению очень важные преимущества с точки зрения лингвистики по сравнению с первичной формой звукового сообщения в процессе непосредственного устного общения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что письмо — это не только способ решения прагматической задачи закрепления сообщений и передачи их в пространстве и времени, одновременно это и средство **первичного, донаучного анализа** звукового сообщения. Письменный текст — это своего рода «препарат», как будто специально подготовленный для научного исследования языка.

§ 2. Письмо в его отношении к звучащей речи

Чтобы разобраться в достаточно сложных, даже очень сложных отношениях между письмом и звучащей речью, рассмотрим те операции, которые связаны у людей с восприятием письменного текста — чтением. Это слово обобщает разные процессы: и чтение про себя (и для себя), и чтение вслух, для других или в процессе учения, тренировки; чтение с пониманием и чтение без понимания. Задержимся немного на этих процессах и выделим «озвучивание» текста как особый вид оперирования с графическими знаками, не совпадающий ни с чтением вслух, ни с чтением про себя и не имеющий аналогии среди операций со звуковой речью.

Лингвистам и историкам не так редко приходится сталкиваться с текстами, написанными неизвестными им знаками. В такой ситуации разница между собственно чтением и «чтением-озвучиванием» выступает особенно наглядно. Если в наши руки попадает такой текст, то первая задача, которая возникает перед исследователем, — «увидеть» сквозь загадочные для него графические значки скрытые за ними языковые формы. Первый необходимый шаг к решению этой задачи — это транслитерирование текста, то есть переписывание его в известной нам системе графических знаков, благодаря чему он станет доступным для «прочтения вслух». Это выражение я ставлю в кавычки, потому что на самом деле читать его вслух часто бывает и некому, и незачем. Более того, транслитерация в подобных случаях и не претендует на адекватность реальному произношению на данном языке, отзвучавшем, может быть, тысячу лет назад. Поскольку знаки, используемые при транслитерации, — буквы — отражают не реальные звуки, а определенным образом противопоставленные фонемы, постольку такая транслитерация позволяет противопоставить друг другу звукотипы, фонемы умолкнувшего языка. Каждый ученый прекрасно знает, что транслитерация может дать лишь самое грубое приближение к звучанию оригинала. Но построение такого грубого, приблизительного представления составляет важнейшую задачу лингвистики, не решив которой нельзя продвинуться ни на шаг в постановке других, содержательных задач.

Только после того, как этот шаг сделан, текст транслитерирован, «почти озвучен», становится возможным переходить к дальнейшим задачам исследования, связанным с проникновением в знаковую структуру текста, а затем и в его содержание. При этом может оказаться, что, «озвучив» текст, мы без труда распознаем и язык этого текста, который может оказаться знакомым нам в большей или меньшей степени.

Такие случаи не раз бывали в истории лингвистических дешифровок. Да, в сущности, на современном уровне лингвистических знаний

после транслитерации в большинстве случаев может быть распознана принадлежность языка к той или иной лингвистической общности, и если исследователи убедятся, например, что данный текст написан на языке хоть и неизвестном, но индоевропейском, то тем самым будет уже практически гарантировано проникновение в его знаковую, а отчасти и семантическую структуру. Однако в принципе столь же возможна и обратная ситуация: текст и после транслитерации останется таким же тёмным и непонятным, как до озвучивания. Если мы не сможем сблизить язык текста ни с одним уже известным нам языком, мы оказываемся как бы в порочном кругу: чтобы понять текст, необходима опора в знании языка, в представлении о его формах и лексике; но для построения такого представления необходима опора на тексты. Мы располагаем текстами как материальной реальностью — но лишены семиотического ключа, дающего к ним доступ.

Подобная ситуация связана с письменностью майя. При расшифровке неизвестных письменностей прежде всего надо понять, что означают отдельные значки. В простейшем случае, если это буквы, ближайшим следующим шагом будет стремление «озвучить» текст, «прочитать» его в самом узком смысле этого слова. Как раз этого этапа и удалось достичь в начале 60-х гг. ученым Академгородка, которые попытались «прочитать» рукописи индейцев майя. Опираясь на реконструкции и гипотезы Кнорозова, который, конечно, работал «вручную», они разработали соответствующую программу для ЭВМ, и в результате им, по-видимому, удалось «прочитать» эти рукописи, то есть «озвучить» их, сопоставить письменным значкам звуки или целые слоги.

Но как бесконечно далеко от такого «озвучивания» до подлинного прочтения — с пониманием, с проникновением в смысл... В этом смысле тексты майя так и остались недоступными прочтению.

Подобная же задача стояла и перед Шамполионом и была им успешно решена.

Этот порочный круг, хотя и не без труда, не без серьёзных затрат времени, но обычно размыкается лингвистами. Как, какими приёмами идёт поиск и проверяются гипотезы — это отдельный, большой и сложный вопрос, на котором сейчас мы задерживаться не будем. Со времен Шамполиона в этой области, конечно, накоплено много знаний, много приёмов и методик работы; но задачи, стоящие перед специалистами, остаются такими же увлекательными, захватывающими человека целиком, нередко на всю жизнь.

Но вернёмся к вопросу о тех предположительных преимуществах, которыми обладают тексты по сравнению с устной речью.

Письмо, безусловно, особая знаковая система, другая, качественно отличная от звукового языка. Её нельзя назвать самостоятельной,

независимой по отношению к языку, она неразрывно связана с ним как с объектом отображения. Но это отношения особого рода, существенно иные, чем те, которые связывают с языком другие, искусственные системы, возникшие на базе естественных языков, уже располагающих письменностью, на основе конвенции, общественного договора. Такой искусственной системой знаков является, например, система письма, которым пользуются незрячие; как и азбука Морзе, это вторичная система, явно восходящая не к устному, звуковому языку, а к письму. Искусственный, конвенционный характер этих систем очевиден.

Но само письмо – это естественная семиотическая система. Она не была создана, придумана людьми с некоторой определённой целью, – она возникла, развивалась и продолжает развиваться так же стихийно, как и сам звуковой язык.

Сказанное несколько не противоречит тому общеизвестному факту, что системы письма для многих народов создавались и создаются искусственно, нередко по инициативе и усилиями определённых лиц, даже одного лица, истории хорошо известного. Так, письменность для славян (глаголическая) была создана македонскими филологами, братьями Кириллом (Константином) и Мефодием; это историческое событие датируется началом 863 или 855 г. В XVI веке Стефан Пермский на базе кириллицы разработал систему письма, азбуку для пермяков, финно-угорской народности, жившей в районе нынешней Перми, за что и получил имя «Пермского». Усилиями православной миссии в прошлом веке создавалась письменность для алтайцев. Усилиями политических ссыльных при активном участии якутской интеллигенции создавалась якутская письменность. После Октябрьской революции усилиями советских филологов-энтузиастов создавались, менялись, совершенствовались, а иногда и ухудшались системы письма для многих народов Сибири и Дальнего Востока. В создании письменности (алфавита) для народов Сибири активно участвовали и участвуют лингвисты Ленинграда, Москвы, Новосибирского Академгородка.

Письменность для эвенков разрабатывала профессор Ленинградского Университета Глафира Макарьевна Василевич. В создании письма для нанайцев активное участие принимал первый декан гуманитарного факультета НГУ, чл.-кор. Академии Наук Валентин Александрович Аврорин. В 70-80 гг. усилиями филологов и самой национальной интеллигенции создавалась система письма для одной из малых народностей крайнего Севера, родственных якутам – долган. Поэтесса-долганка Огдо Аксёнова, опираясь на систему письма близкородственного якутского языка, опубликовала свои стихи на «ещё бесписьменном» языке. В работе по усовершенствованию и

внедрению долганского письма участвовали новосибирские филологи Елизавета Ивановна Убрютова и Владимир Михайлович Наделяев, которые ещё в 30-е годы первыми пришли к долганам в качестве школьных учителей и на всю жизнь остались связаны с этим народом. И в наши дни над совершенствованием письменности народа ханты много работают Валентина Николаевна Соловар и Наталья Борисовна Кошкарева.

Конечно, то, что они делают, – это сознательное, а не стихийное творчество. Однако такое творчество становится возможным только тогда, когда у какого-то другого народа или народов уже есть письменность данного типа. Во всех этих случаях буквенное письмо уже существует, и задача состоит только в том, чтобы правильно выявить систему фонем данного языка и к ней приспособить избранную систему буквенных знаков. Это тоже не просто.

Но я, говоря о возникновении письма, имела в виду качественно другую ситуацию – ситуацию «первопроходцев», тех народов, которые сами открывали возможность отобразить свою звуковую речь с помощью графических знаков, сами открывали для себя такую возможность – соотношения звучащей речи с графическими значками, соотношения льющегося, преходящего, мгновенного звукового потока, значащих колебаний воздуха – с фиксированными в материале, в камне и на бумаге цепочками знаков – текстом.

Значение письма в культурной истории человечества переоценить невозможно. По своей культурно-исторической роли оно сопоставимо лишь с самим звуковым языком. Благодаря языку в языковых формах становится возможным познание человеком мира, а следовательно, и формирование человеческого общества, противопоставляющего себя природе и дерзающего подчинить ее себе. Благодаря языку становится возможной передача знаний и опыта от человека к человеку, а следовательно, и концентрация знаний, их прирост, накопление от поколения к поколению, их трансляция через время.

Индивидуальная жизнь коротка, и если бы люди не могли передавать накопленного ими личного опыта следующим поколениям (как не могут этого животные), развитие цивилизации было бы невозможно. Каждое поколение начинало бы «всё с начала». Но если знания растут, то, каким бы медленным ни был этот процесс, раньше или позже человечество обязательно столкнётся с проблемой ёмкости памяти. Память отдельного человека не безгранична; память коллектива, общества гораздо сильнее и шире. Но и она имеет предел.

Известно, что человеческую память можно усилить при помощи определённых средств: мнемоники, или мнемотехники. Так называется совокупность приёмов, имеющих целью облегчить запоминание и удержание в памяти возможно большего числа сведений. Мнemo-

ника основывается на принципе ассоциаций идей и одновременно на некоторых особенностях, свойствах структуры выражения. В частности, ритмическая организация, рифмовка способствует запоминанию обширных текстов, которые без этой опоры память не удержала бы. История человеческих обществ показывает, что этот путь преодоления трудностей, связанных с перегрузкой социальной памяти, широко использовался всеми народами.

У народов, уже начавших свою историю, но ещё не достигших того рубежа, когда у них возникают государственность и письменность (обычно эти события очень близки между собой во времени), огромную культурную роль играет народный эпос. Эпос вбирает в себя и хранит для потомков весь накопленный народом исторический опыт: кто мы? откуда пришли? кто были наши предки, чем они занимались, что ели и пили, как одевались, какими орудиями пользовались? с кем воевали, кого побеждали, кем были побеждены? На все эти вопросы эпос содержит ответы. Он существует в форме относительно устойчивого ритмически организованного текста, который скорее поётся, чем сказывается народными поэтами-певцами, которых народ почитает превыше властителей, ибо они – носители его мудрости, его памяти, его знания о самом себе. И не случайно великие ашуги, акыны, кайчы, сказители, подобно Гомеру, были слепыми. Эти люди, своей слепотой освобожденные от других видов работ, с детства, с юности принимали на себя это бремя – и эту миссию – служить памяти.

Однако ёмкость человеческой памяти, даже специально тренированной и усиленной любыми мнемоническими приемами, тоже не безгранична. Даже хорошо тренированная память человека, жизненная миссия которого состоит в хранении и «несении» информации, начинает отказывать, когда информации, подлежащей трансляции, становится слишком много. Дальнейшее развитие культуры настоятельно требует от общества интенсивного роста знаний, а передавать информационные накопления новым поколениям оказывается всё трудней из-за перегрузки каналов такой трансляции – памяти.

Выходом из этого противоречия, как показывает ход исторического развития человечества, оказывается создание письменности. Таким образом, социальная значимость письма определяется тем, что письменные тексты становятся «внешней памятью» общества. Ту информацию, которую должны были хранить в своей памяти люди, теперь можно передать бумаге (или папирусу, или пергаменту). Письмо освобождает интеллектуальную энергию общества, поглощавшуюся ранее хранением и передачей прежнего знания, и позволяет направить ее на добывание новых знаний.

Однако для лингвистики значение текстов определяется вовсе не той информацией, которая вложена в них их составителями; не той информацией, которую предки, составляя текст, хотели передать потомкам или другим адресатам-современникам и которую столетия спустя «перехватывают» историки. Оно определяется той информацией, которая проникает в текст помимо желания и воли авторов: это информация о языке, на котором написан текст. И ещё один очень важный момент: эта информация о языке заключена в текстах в особой, «препарированной» форме, как будто специально предназначенной для «перехватчика текста», изучающего язык.

Всякая знаковая система, в том числе и письмо, определяется не только и даже не столько тем, что представляют собою её знаки со стороны плана выражения, сколько тем, какова структура их содержания, каково их внутреннее устройство. Между тем, о структуре содержания знаков нашей второй семиотической системы, которой мы пользуемся в течение тысячелетий, с которой мы, лингвисты, имеем дело постоянно, каждый день и час, мы почти ничего не знаем. И почти не задумываемся об этом.

Обозначающим в нашей системе письма, как мы не раз уже говорили, являются буквы и сочетания букв, а также некоторые другие графические значки. В одних системах письма в этой роли используются слоговые значки – силлабемы, в других иероглифы – знаковые обозначения слов и морфем. Но письмо имеет и своё означаемое. Это некоторая сторона действительности, описываемая и выражаемая и более того – представляемая нашему сознанию с помощью знаков именно этой системы. Обычно звуковой язык является той первичной знаковой системой, которая представляет нашему сознанию самые разные стороны окружающей нас действительности: небо с сияющими на нём звёздами, океан с его специфической жизнью, животный мир и растительность, земную поверхность, человеческое тело с его болезнями, душу с её радостями и страданиями. Но есть такая сторона действительности, в познании которой язык оказывается бессильным: это сам язык. Тут роль первичной отображающей знаковой системы и переходит к письму.

С помощью письма мы не только выражаем языковые объекты: звуки, слова, предложения, – мы познаём эти объекты и отношения между ними. В знаках «второй семиотической системы» закрепляются успехи, достигнутые человечеством в познании языка и фиксируются важнейшие этапы длинного и сложного пути человечества к его познанию.

Конечно, я говорю сейчас вовсе не о научном изучении языка и языков. Наука о языке имеет свою длительную, но прерывистую традицию. Объектом научного изучения долгое время были конкретные

языки определенных народов: китайский, индийский, греческий, латинский, арабский. Каждый из них изучался в течение нескольких сотен лет, а со сменой цивилизаций преемственность нарушалась.

Я имею в виду первичное, донаучное познание, имеющее совершенно другую природу. Накопление преднаучных знаний является необходимой предпосылкой лингвистики — как и всякой другой науки, но с той только разницей, что в самом языке, без посредства письма, такого рода знания не накапливались.

Звуковой язык, как мы знаем, является средством общения, это его прямая, первичная социальная функция. Одновременно он является средством первичного познания действительности. Знаки языка, в частности слова, не «называют» те или иные смыслы, а **формируют** их. Безотносительно к знакам не может быть и знаковых содержаний — смыслов, общих представлений о вещах и явлениях, понятий, в которых мы мыслим и говорим о Мире.

Точно так же и письмо, будучи средством опосредованного общения людей, разделённых пространством и временем, обеспечивающим консервацию звуковых сообщений (в этом состоит его первая, прямая социальная функция), является одновременно **средством первичного познания** того объекта, который оно призвано отображать: **языкового кода**, который использован при построении звуковых сообщений.

Перейдём теперь к рассмотрению содержательной стороны «второй семиотической системы», которую удобно будет показать на фоне её истории.

§3. Письмо как средство познания языка (ретроспективный взгляд)

Содержательную сторону письма мы привыкли представлять себе упрощенно, если не сказать, что обычно мы вообще не задумываемся о ней. С помощью букв мы обозначаем звуки, цепочки букв графически представляют слова, ещё большие цепочки — предложения; в этом и состоит назначение письма и его смысл. Такому упрощённому представлению способствует (не оправдывая его) и простота системы выражения в нашем письме. Несколько десятков букв — современные дети эту премудрость постигают ещё до школы! Может быть, стоит напомнить, что звуковым языком дети овладевают в ещё значительно более раннем возрасте, однако из этого факта никто не делает вывода о том, что язык элементарно прост.

В истории человечества создание буквенного письма было актом огромной важности. Это, несомненно, был крупный скачок в истории культуры всех народов Земли. Но обычно мы оцениваем это событие под углом зрения его внешних последствий: насколько в связи с этим

шагом упрощается приобщение к культуре, как перестраивается школа, как ускоряются темпы развития. Но переход к буквенному письму имеет своё внутреннее содержание, на которое я сейчас и хочу обратить внимание. Сама возможность «писать при помощи букв» предполагает громадную латентную работу познания, направленную на звуковой язык. Создание буквенных символов — это итог, венец познавательного процесса, начало которого уходит в бесконечную глубину веков.

Подлинная трудность состоит вовсе не в том, чтобы придумать значки, начертания, которыми обозначаются звукотипы. Выделить эти звукотипы, их набор для каждого конкретного языка — задача несравненно более сложная и трудоёмкая. Однако, как мы уже видели, с ней может справиться один человек на протяжении части своей жизни. Конечно, для этого он должен быть филологически подготовлен и одной из сторон его подготовки должно быть глубокое проникновение в природу буквенного письма у разных народов, уже перешагнувших этот рубеж. Он должен не только уметь писать на нескольких языках, но понимать внутренние принципы системы письма: понимать, что именно, какой объект обозначается отдельной буквой.

Подлинная же трудность состоит и в том, чтобы впервые, не опираясь ни на какой уже существующий опыт (в ситуации, когда такого опыта просто ещё нет), расчленить звуковой континуум на звукотипы, пускай на «звуки», следующие один за другим. **Представить континуум как дискретный звуковой ряд**, не опираясь на буквенное письмо, которого ещё нет! Может быть, это первая задача, которая могла быть решена только с помощью интеллекта.

С момента, когда эта задача оказывается решённой, человечество уже владеет буквенным письмом. Создание буквенного письма и есть не вербальное, не логическое, а практическое решение этой задачи. Это в некотором роде «финиш», которому предшествует «марафон». В течение длительного времени совершалась невидимая работа человеческого сознания по анализу речевого потока. Он последовательно членился сначала на крупные звенья, потом на более мелкие, пока не был достигнут предел анализа — звукотип-фонема. Созданию буквенного письма предшествует огромная сопоставительная работа, направленная на выявление функциональных отношений между отрезками звучания, уже выделяемыми на данном этапе как некоторые «отдельности»: тождественны ли они как элементы системы, вопреки определённым, уловимым на слух различиям, — или они различны, противопоставлены друг другу как разные элементы, вопреки минимальности своих акустических признаков. И, конечно, помимо прочего, необходима была синтезирующая работа

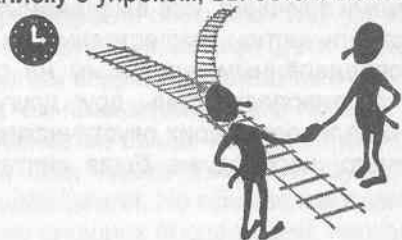
мысли, то есть создание обобщенных представлений о звуках, выполняющих в языке смысловоразличительную функцию.

Звуковой язык, который мы называем **средством познания действительности**, по отношению к системе письма предстаёт как **объект познания**, как то явление действительности, которое требует познания. Графические знаки фиксируют успехи, достигнутые человечеством на этом пути, длящемся много тысячелетий. Тому уровню познания, который отражен в буквенных символах, предшествовали другие уровни, закреплённые в других системах письма. Если мы посмотрим под этим углом зрения на исторический путь, пройденный человечеством, то увидим, что он представляет собой целый ряд ступенек, каждая из которых отражает новый, более глубокий уровень анализа познаваемого объекта.

Напомню, что греческое слово *анализ* в самом греческом языке означало 'разделение', 'расчленение целого на части', в том числе и физического целого, в русский язык оно вошло только в значении логической, умственной операции. Когда едим виноград, отделяя от грозди за ягодой ягоду, мы не скажем, что мы «анализируем» гроздь. Но анализ крови — это как раз выделение её составных элементов. Анализ языка, отражённый в разных системах письма, — процесс очень сложный, но, в отличие от научного анализа, не рефлектируемый, не осознанный ясно теми, кто его производил.

Время и место не позволяют нам сейчас подробно останавливаться на всех этапах этого интереснейшего процесса. Поэтому лишь в нескольких словах коснёмся того первого этапа, с которого всё начиналось, — **пиктографического** письма, или письма рисунками. Подробнее об этом письме можно прочитать в книгах В.А. Истрина, И. Фридриха, И.Е. Гельба и др. Там приведены и подлинные пиктограммы, очень древние и сравнительно новые, например, письмо индейских племён президенту Соединённых штатов. Мы же возьмём вымышленный пример, чтобы на нём показать самые главные свойства, особенности этого письма.

Представим себе, что вы зашли к другу, который хотел вас проводить на вокзал. Уже пора ехать, а его нет, вы уезжаете в три часа. Вы доберётесь и сами, но вам немного досадно. И вот, вместо того, чтобы писать ему записку с упреком, вы оставляете записку-рисунок:



Обратим внимание на то, что вы, хотя и схематично, рисуете конкретную ситуацию: рисуете себя, рисуете его, с какими-то даже портретными черточками. Вводите в рисунок разные детали: слёзы, капающие из ваших глаз, часы (висящие в воздухе), портфель друга... А как можно прочитать вашу «пиктограмму»? Какой речевой отрезок может ей соответствовать?

Минимум её прочтения — это предложение. Может быть, очень сложное, с множеством дополнительных оборотов; может быть, несколько предложений — но никак не меньше одного предложения. В этом предложении найдётся соответствие изображенным предметным деталям: рисунку портфеля будет соответствовать слово *портфель*, изображению слёз — слово *слёзы*. Но в предложении обязательно будут подлежащее и сказуемое, два разные слова, а в пиктограмме им будет соответствовать только одно — целостное изображение. Человека, животное, предмет можно изобразить «в действии», но нельзя нарисовать действие отдельно от предмета, который действует.

И ещё одна важнейшая особенность пиктографии: пиктограмму можно читать на **любом** языке. И, соответственно, по пиктограмме никак нельзя распознать, на каком языке разговаривали написавшие её люди. Поэтому пиктограммы и не подлежат ведению языкознания: они не несут в себе информации о языке. Это ещё не письмо в подлинном смысле слова, — это «канун письма».

Из пиктографии вырастает, постепенно вызревая в ней, **идеографическое, иероглифическое** письмо. Слово «идеограмма» представляет нам план содержания знаков этой системы как «понятия»: греч. *εἰδέα* 'понятие', *γραφῶ* 'пишу'. Такая этимологическая трактовка смысла этого термина встречается и сейчас. Она хорошо подтверждается такими современными идеограммами, как цифры. Цифра 2 в европейской, а теперь уже и в мировой системе обозначает не слова: не русское *два*, не немецкое *zwei*, французское *deux*, английское *two* и т.д., а именно понятие данного числа, следующего за 1 и предшествующего 3. Однако, если иметь в виду не этот специальный, «международный» участок современной семиотики, а древний способ записи высказываний на естественных языках, то содержанием идеограмм следует признать именно слова данного языка. Понятия не могут существовать без выражающих их слов — или морфем, но морфемы семантически соответствуют частям слов, они вторичны, а первично слово.

Синонимом слова идеограмма является слово *иероглиф*, буквально «священный знак». Греки так называли знаки той письменности, которой пользовались жрецы Древнего Египта. Иероглифические тексты — это, строго говоря, именно тексты Древнего Египта. Но

термин этот используется значительно шире: мы говорим и о китайской иероглифике, и об использовании иероглифики в письмах.

Слово, как мы знаем, — двусторонняя языковая сущность; это знак, означающая сторона которого неразрывно связана с означаемым. В то же время, и в данном случае это очень существенно, между звуками, составляющими оболочку слова, и тем представлением, объектом, который стоит за этими звуками, нет необходимой, природной связи. Звуки *в-а-с* по-русски — форма местоимения *вы*, по-немецки — вопросительное местоимение — *Was ist das?* 'Что это?' Даже в одном языке находим слова-омонимы, звучащие одинаково, но совсем не связанные по смыслу: *белок*¹ — 'органическое вещество', *белок*² — 'прозрачная часть яйца; непрозрачная белая оболочка глаза'. И это обстоятельство влечёт за собой важные следствия в отношении письменного отображения знаков.

В силу разноприродности и случайного характера связи сторон языкового знака как двухсторонней сущности он не может адекватно отобразиться в другом, графическом знаке. Отобразиться может какая-то одна из этих сторон: или означаемое, или означающее. Отсюда два теоретических возможных пути развития графического отображения языковых знаков: **семантический**, ориентированный на содержание, и **фонетический**, а точнее **фонологический**, ориентированный на звуковое выражение.

Идеография — это графическая система **семантического** типа, пытающаяся своими средствами воспроизвести содержательную сторону слова. И египетские, и китайские иероглифы — древнейший их пласт — ярко свидетельствуют об этом: упрощенные, схематизированные — это всё-таки еще почти рисунки, почти изображения названных словами предметов. Например, в китайском иероглифе *жы* ☺ — легко усмотреть написание о солнце, в иероглифе *жэнь* 人 — 'человек' — схематизированное очертание шагающего человека. «Картинность» древних египетских иероглифов так очевидна, что не нужен никакой комментарий.

То обстоятельство, что «семантические» системы письма исторически предшествуют фонологическим, представляется совершенно закономерным. Выражающая сторона этих систем сложна и громоздка, — только представим себе, сколько разных значков потребовалось бы нам запомнить, не путать между собой, если бы отдельный значок соответствовал не букве, а слову! Ведь в однотоном словаре Ожегова больше 50 тысяч слов. Но у этих систем есть своя привлекательная, сильная сторона — в определённом отношении они гораздо проще наших современных, таких простых и экономных буквенных систем. Знаковые содержания, соответствующие иероглифам, уже выделены безотносительно к иероглифу, до того, как иероглиф

кем-то придуман. Они выделены своими первичными знаками, звучащими, а не написанными словами. Слово *корова* обозначает корову, слово *ложка* обозначает ложку. Если мы понимаем эти слова, то представляем себе и эти предметы, а значит, можем их как-то изобразить.

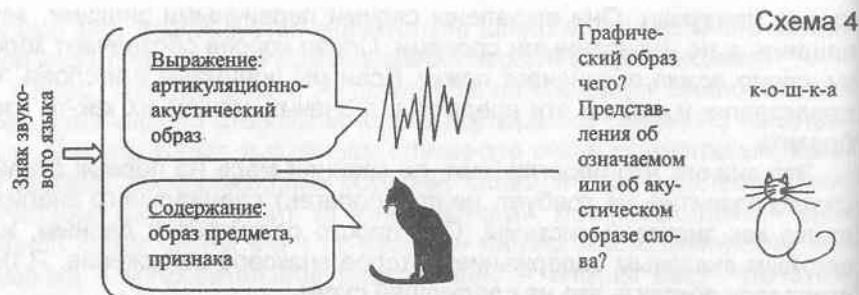
Это значит, что иероглифика, по крайней мере на первых этапах своего развития, не требует, не предполагает специального анализа языка как знаковой системы. Она просто соотносит с данным, известным знаковым содержанием второе знаковое выражение. Я постаралась показать это на следующей схеме:

Схема 3

Отношения между знаком звукового языка и отображающим его графическим знаком



Эти отношения можно представить иначе:



Семантическая форма письма, особенно на ранних этапах своего развития, не требует проникновения в структуру выражения языка. Другое дело, что сама способность дискретно представлять себе явления окружающей действительности, улавливать структуру ситуаций и передавать их в пиктографических изображениях обусловлена тем, что люди уже владеют членораздельной речью. Но это может быть речь на любом языке, специфика же каждого конкретного языка этой системой не отражается никак. Однако постепенно пиктография перерастает и иероглифику, а это, как мы уже говорили, связано с вычленением отдельного слова как единицы, которую нужно отобразить графическим знаком. А это значит и осознать его как отдельную сущность.

Хотя ранние иероглифы по форме очень близки к рисункам, между пиктографией и идеографией лежит качественный рубеж. В пиктограммах рисунок **изображает** именно то, что он изображает: лодку, моржа, весло, старика. Изображать можно только **конкретные предметы**. Всё абстрактное изображению недоступно. Идеография же свободна от этого ограничения. Её знаки — не изображения предметов, а их **символы**. В основу изображения абстракций обычно кладутся соотнесённые с ними конкретные объекты, например «старость» изображается схематичным символом, в котором угадывается старик с палкой; «зоркость» — определённым начертанием глаза и т.п. Как показывает современное состояние китайской иероглифической письменности, эти системы способны перерабатывать любое, сколь угодно абстрактное знаковое содержание. В этом смысле они не имеют внутреннего предела, достигнув которого они должны были бы превратиться во что-то другое, подобно тому как пиктография превращается в иероглифику.

Идеографические элементы появляются в пиктограммах очень рано. Это прежде всего изображение отсчёта времени. У всех народов, по-видимому, солнце символизирует день, луна — месяц. И в пиктограммах количество «солнц» символизирует количество дней, а «лун» — месяцев. Постепенно появляются и некоторые символиче-

ские элементы. Например, у многих народов смерть символизировалась перевёрнутым изображением умершего.

Но качественным рубежом между пиктографией и идеографией мне представляется «разрыв неразрывного» — предикативного узла, то есть отделение представления о подлежащем, о предмете-носителе предикативного признака и о самом предикативном признаке.

Этот шаг становится возможным только на базе уже высоко развитого абстрактного мышления, на базе прочных навыков символизации абстрактных представлений: от представлений о бегущем человеке, стреляющем, сидящем, молящемся, охотящемся и т.д. как о разных явлениях надо перейти к представлениям, с одной стороны, о человеке в отвлечении от каких бы то ни было его действий, с другой стороны, о действиях в отвлечении от того, кто действует. Иероглифические системы письма начинают своё существование с момента, когда этот рубеж уже позади.

Хотя иероглифические системы письма и справляются с передачей любых абстракций, их использование связано с серьёзными и, по крайней мере на первый взгляд, малопродуктивными затратами интеллектуальной энергии общества. В древнейшем мире иероглификой владели и пользовались касты жрецов, в то время как остальное население было занято «чёрным трудом». Но в современном мире закрепление грамоты за узким кругом привилегированных лиц уже давно несовместимо ни с уровнем развития производства, ни с темпами развития цивилизации в целом. Во всемирном масштабе ставится задача всеобщего обязательного образования с различным, но в целом довольно высоким уровнем. С этой точки зрения трудность или относительная лёгкость достижения того уровня, когда человек может считаться грамотным, когда ему становятся доступны основные виды печатной информации: книги, газеты, — оказывается очень важной.

В европейских государствах с их буквенной письменностью ребёнок начинает читать в 5-7 лет, часто до школы. В школе он быстро овладевает искусством письма. Правда, в течение ряда лет ему приходится формировать и тренировать навыки письма в соответствии с действующими орфографическим и пунктуационным кодексами. Но для того, чтобы овладеть знаниями о разных сторонах мира, ему нужно преимущественно читать, а читать он может с первых классов школы.

Китайский школьник на овладение иероглификой должен затратить несколько лет школьного обучения. Чтобы начать читать, нужно освоить около 3000 иероглифов, а ведь они пишутся много сложнее, чем наши буквы. Естественно, что в этой семиотической ситуации

ребёнок, школьник, получает доступ к литературе, книгам на несколько лет позже. Умножив этот проигрыш на число учащихся, мы получим приблизительное представление о затратах, которые несёт нация. К этому, конечно, надо прибавить другую цифру: число людей, не добирающихся до этого уровня, остающихся неграмотными, а потому устранёнными от активного участия в развитии национальной культуры.

Однако для нации, культура которой уходит корнями в глубину тысячелетий, переориентация системы письма означала бы отказ от своей истории. Это невозможно. К тому же иероглифическая система письма очень тесно увязана с самим строем китайского языка, и фонетическим, и грамматическим. Поэтому китайская культура в самой системе своего письма ищет и находит определенные пути и способы преодоления этих трудностей. Говорить о них конкретнее я не берусь, это дело специалистов в этой области знания.

Исторически, в масштабе основной части человечества, выходом из этого тупика была переориентация письменности на отображение выражающей стороны, то есть её фонологизация. Этот поворот означает, что объектом графического отображения становится «звуковая материя», а точнее – структура выражения. Письмо становится средством первичного познания языковой формы, обретая тем самым собственную, специфическую гносеологическую значимость.

Начальной точкой на этом пути является та же иероглифика. Иероглиф, как мы уже говорили, это знак слова (или морфемы), а не одного смысла, «понятия». Об этом свидетельствует, например, тот факт, что синонимы, в том числе абсолютные, терминологические, в китайском иероглифическом письме имеют каждый своё обозначение. Следует, конечно, сказать, что в процессе своего развития сам китайский язык существенно изменился, и многие в прошлом отдельные слова стали сейчас морфемами, частями многосложных – многокорневых – слов. Им соответствуют не единичные иероглифы, а цепочки из двух-трёх иероглифов, например, *хо-чэ* 'поезд', букв.: 'огонь-повозка', *чи-чэ* букв.: 'автомобиль'. Понятно, что в подобных случаях объектом идеографического означающего является именно слово данного языка, а не чистый смысл. Однако звучание слова или составляющих его корневых морфем передаётся иероглифом как целостный, нечленимый комплекс. Например, слово *Китай*, *чжун-го*, передаётся двумя иероглифами: *чжун* 'середина' и *го* 'государство, страна'. Мы пишем эти компоненты слова четырьмя или двумя буквами, а в иероглифической системе письма эти звуковые комплексы отражаются как «целостности», не членившиеся на отдельные звуки.

Иероглифические письменности успешно развивались преимущественно у таких народов, в языке которых слова короткие, состоящие

из одного слога. Но у многих народов слова бывают длинные и даже очень длинные, состоящие из двух, трёх, и даже семи и восьми слогов.

Слоги – это отрезки звучания, группирующиеся вокруг наименее напряженного звука в данной цепочке. Наименее напряженные звуки – это гласные; но если в относительно длинной цепочке нет настоящего гласного, его слогообразующую роль может взять на себя сонант: *р, л, н, м* – эти звуки являются слогообразующими и в русской речи, например, при произношении в быстром темпе имени Анна Ивановна – *АннываНнь* – предпоследнее *н* становится слоговым; ср. также *влк, грло* в чешском языке, где *л* и *р* слоговые: *гр-ло*.

В составе разных словесных оболочек, естественно, повторяются одни и те же слог: *ры-ба* и *ку-ры*, *ры-бак* и *та-бак*, *ку-да* и *ку-ма* и т.д. Слоги – это не морфемы, не значащие части слова; между приведёнными словами нет никакой содержательной общности, но звуковая общность очевидна.

Количество слогов в каждом языке гораздо меньше количества слов. Поэтому письмо, в котором объектом отображения был слог, а не слово (или морфема, в которую превратилось бывшее слово), несомненно, было бы гораздо более экономным. Поэтому естественно, что на смену иероглифическим письменностям приходят системы **слоговой**, или **силлабического** письма.

Рождение силлабических систем письма свидетельствует о том, что познавательная активность человеческого коллектива уже направилась на **звуковую материю**. С этого момента именно она стала объектом анализа – то есть членения. Выделение такой языковой сущности, как слог, означает, что **значащая единица разделена на не значащие части**. Иными словами, наши далёкие предки на этом этапе сумели развести в своём сознании две стороны слова – звучание и значение и делить звучание так, что это деление не имеет никакого отношения к структуре содержания, смысла.

В этом процессе, несомненно, иероглифы сыграли очень важную роль. Дело в том, что именно эти значки использовались в качестве графических символов разных слогов. Можно сказать, что силлабические письменности возникали «на обломках иероглифики». Новые народы, в круговороте цивилизаций пришедшие на смену тем, которые создавали, развивали и использовали иероглифику, говорили на других языках, для которых, в частности из-за длинных слов, это письмо было неудобным. И они переработали иероглифику на основе новых принципов, используя графемы слов и морфем для формирования и выражения существенно иных, новых лингвистических представлений, представлений о слоге.

Дальнейшее развитие фонологического письма состояло во все более детальном анализе звуковых последовательностей, в выделении всё более мелких отрезков звучания и соотношении этих звуковых образов, представлений с отдельными графическими значками. Огромная работа по выявлению звукотипов, фонем, о которой мы говорили выше, не могла бы быть выполнена человечеством, если бы раньше оно не постигло принципа деления звуковых последовательностей на слоги, а для этого не научилось бы мысленно разделять звучание и значение.

В процессе слогоделения естественно познавались и качественные различия звуков, те их признаки, которые позволяют различать и взаимно противопоставлять слоги: *ба-ма-па-ра-са / ба-бя-бо-бё-бу* и т.д. Но вот что любопытно, и даже более чем любопытно. Сейчас, я думаю, каждый человек, учившийся в школе, прежде всего подумал бы о делении звуков на два класса: согласные и гласные, или даже наоборот: гласные и согласные. Ведь сам термин «со-гласные» как бы говорит о том, что это звуки, «сопровождающие» гласные. Но история письма свидетельствует о том, что это деление звуков является относительно поздним и далось человечеству ценой немалых усилий. Слог — это такое целое, в котором гласный и согласный (или группа согласных и гласный) слиты в единое целое, даны сознанию вместе. Нам сейчас очень легко увидеть в слове *ло* два звука, [л] и [о], потому что мы в и д и м эти звуки написанными. В силлабеме гласный «призвук» не виден, а чего мы не видим, того, по-видимому, и не слышим.

Арабы, как и другие семитские народы, пользуются **консонантным письмом**. Оно отражает буквенными значками только согласные звуки, предоставляя читателю догадываться, какие гласные должны звучать между ними. С этой особенностью арабского письма, несомненно, связан тот факт, что арабские филологи времён Халифата, достигшие успехов и в изучении, и в развитии арабского языка, долго не могли «расщепить слог», то есть справиться с той операцией, с которой — разумеется, с опорой на письмо! — справляются наши первоклассники.

Расщепление слога на гласный и согласные компоненты — это последний шаг на пути анализа звуковой материи как таковой. Совершив его, мы приходим к **фонеме**. Фонема — это мельчайшая единица структуры выражения, которую уже нельзя представить себе как последовательность ещё более мелких «единичек». Графическим знаком отдельной фонемы должна быть отдельная буква. Однозначное соответствие между буквами и фонемами считается принципом идеального алфавита.

К сказанному остается добавить, что современные приборы не позволяют провести границу между гласными и согласными: специфическая качественная окраска присутствует в инициальном согласном слога изначально. Проведение этой границы людьми достигается не с помощью тонкого слуха, а с помощью интеллекта.

Обычно «историю письма» заканчивают на этом этапе. Далее рассматриваются лишь конкретные системы письма, основанные на фонологическом принципе, как, например, история возникновения и развития (изменений во времени) русского кириллического письма, вплоть до последних реформ: в 1918 году была выведена из алфавита буква «ять», изменены функции буквы «ер»: ее отменили в конце слов на твёрдый согласный и сохранили в позиции после согласного перед йотированными гласными «я», «ю», «е», «ё», где она выполняет разделительную функцию, т.е. указывает, что эти гласные обозначают не мягкость предшествующего согласного, а два звука: [ja], [ju], [jə], [jo].

Однако с достижением фонологического уровня история письма как особой семиотической системы отнюдь не кончается. С этого момента начинается следующий, третий этап этой истории.

Буквенное письмо существует и используется человечеством уже несколько тысяч лет. Некоторые системы, например, грузинская, армянская, русская, обслуживают один и тот же исторически непрерывный языковой коллектив в течение многих веков. Для естественных семиотических систем этот срок не очень велик, однако он достаточен, чтобы заметить, что принципы буквенного письма не остаются неизменными. И русское письмо в этом отношении более показательно, нежели, например, грузинское, потому что сам грузинский язык на протяжении многих столетий менялся сравнительно мало, тогда как русский за тысячу лет своей письменной истории изменился очень существенно. Это, в свою очередь, связано с тем, что носители грузинского языка не меняли своей территории, не вступали в тесное взаимодействие с другими языковыми коллективами. Русские же на заре своей истории вышли за границы исконной родины, распространились на север и далеко на восток, ассимилировав, втянув в себя очень много разных народов и племён. Язык менялся, письмо определённым образом реагировало на эти изменения, применялось к ним — и тем самым прокладывался его собственный исторический путь.

Буквенные алфавиты в древности создавались как фонематические совершенно безотносительно к научным теориям, в которые понятие фонемы вошло лишь в XX веке. Буквы фиксируют не абстракции, не сочетания дифференциальных признаков, а реальные звуки, только обобщенные и типизированные. А типизация идет по линии

смыслоразличительной функции звуков. Поэтому естественно, что на ранних этапах существования этих систем никаких специальных проблем орфографии не возникает: слова пишутся так, как они произносятся. Все «молодые» буквенные системы, алфавиты, в принципе являются (должны быть) и фонологическими, и фонетическими.

Но с течением времени произношение определённых звуков и звуко сочетаний может меняться, что как раз и наблюдается в исторической фонетике русского языка. Там, где некогда в конце слова звучало [дъ], звонкий согласный + сверхкраткий, редуцированный гласный, ныне звучит [т]: [прут], родительный падеж [пруд'а]. Бывший звук [о] в предударном слоге звучит теперь как [а]: [сам'а], но под ударением, в именительном падеже [сом]. Написания слов обнаруживают в подобных случаях независимость и консерватизм. Мы пишем *пруд, сома, все* (хоть говорим [фс'э]) и т.п.

Буквы всех алфавитов со временем меняют свою «форму»: о том, как это происходит, рассказывает нам палеография — научная дисциплина, изучающая, в частности, историю почерков. Но я сейчас имела в виду не стабильность начертаний букв, а устойчивость буквенного состава в графических оболочках слов. В консервативности письма я вижу глубокий внутренний смысл: письмо выполняет в обществе особые функции, и именно этим определяется собственная логика его развития, отличная от логики развития языка.

Русское кириллическое письмо вначале было чисто фонематическим. Но постепенно оно стало каким-то другим. Как-то «сами собой» появились, а потом исчезли некоторые избыточные, лишние буквы — «зело», «фита», «ижица»; появились буквы, обозначающие не фонему, а сочетание фонем, — например, йотированные буквы в словах *яма, ёлка, южный, ехали*; буквы, вообще не обозначающие звуков: *конь, семь, десять*, — или обозначающие явно не то, что им следовало бы обозначать, что они обозначали при своём возникновении: *подъём*, то есть [пад'йом], *въезд*, то есть [в'йэст]. Раз нарушилось соответствие между фонемами и буквами, значит, нужны какие-то правила для установления этих соответствий в разных случаях, например: *май, ястреб, подъярёмный, воробьи* (разные способы передачи звука [й]). Правила такого рода называются орфографическими. Наша письменность, утратив первоначальную чистоту фонологического принципа, «обросла» орфографическими правилами, своего рода «орфографическим кодексом» и приобрела тем самым **морфологический** характер.

Не остаётся с течением времени неизменным и состав символов, внутренняя организация системы знаков, используемых для письма. Я имею в виду не только и не столько выпадение, исключение из алфавита отдельных, ставших ненужными букв («ять», «фита», «ижи-

ца» и др.) или пополнение алфавита новыми буквами (например, [я] — из сочетания [ja]). Эти процессы, несомненно, важны, но о них уже очень много сказано в специальной литературе; более интересным и гораздо более тёмным представляется мне процесс формирования в нашей графике особой знаковой подсистемы, которая до сих пор не получила даже адекватного терминологического имени. Я имею в виду так называемые «знаки препинания» или «пунктуационные знаки».

«Знаки препинания» — это знаки совершенно другого уровня, нежели буквы. Хотя они и «очень маленькие», это, несомненно, знаки, со своим планом выражения и своим планом содержания. Но их означаемое остаётся для нас ещё почти неизвестным. Грамотные люди ставят на письме знаки препинания почти автоматически, скорее чувствуя потребность в том или ином знаке, чем действуя на логическом основании. Но прежде чем стать грамотным, надо долго учиться. В школе ученикам предлагается много правил относительно постановки, например, запятой, или двоеточия, или тире. Но если запятая — знак, то у неё должно быть собственное значение; одно основное значение, из которого другие значения должны естественно выводиться. В чём же оно состоит?

Я думаю, что в современной системе запятая противостоит точке как «внутренний» знак, членящий предложение на значимые фрагменты — «внешнему» знаку, выделяющему предложение, вместе с прописной буквой, в линейной цепи графических знаков — тексте. Эта «начальная» оппозиция развивается далее в сериях более частных противопоставлений, ограничивающих и уточняющих семантику каждого знака. Так, точке по разным основаниям противостоят знаки вопросительный, восклицательный и многоточие (притом, что возможна и такая комбинация: ?!.. Запятой противостоят, с одной стороны, двоеточие, с другой — точка с запятой (как «старший знак» «младшему»); двоеточие сложными отношениями связано со знаком «тире». Особую роль выполняют **парные** знаки: парные запятые, парные тире, скобки, которые являются отдельными знаками по сравнению с соответствующими им одиночными. У них есть и своя функция — выделительная (сравним, например, с функцией одиночной запятой, которая разделяет однородные члены предложения или отделяет одни части предложения от других и т.д.).

Эти знаки, хотя и с некоторой натяжкой, можно ещё назвать «знаками препинания», поскольку они регламентируют «повороты голоса» при чтении, отражая «повороты мысли» пишущего, а эти повороты предполагают изменение, обычно замедление темпа.

Но знак «**кавычки**» — является ли он знаком препинания? Можно ли отнести к знакам препинания (или пунктуации) такой важный знак,

как пробел между словами? Что древнее — точка или пробел? Я этого не знаю.

Шрифтовое выделение ударных, значимых слов, подчеркивание, курсив — это ведь тоже знаки, но чего? Существует целая масса разных «вспомогательных» средств, которые в рукописных текстах представлены несравненно богаче, чем в печатных, а в роталитных изданиях, замечу в скобках, богаче и интересней, чем в типографских. Но семантически они слабо противопоставлены друг другу, поэтому пишущие делают выбор между ними интуитивно, и так же интуитивно схватывается читающим текст.

Функции каждого из этих знаков и значков, условно относимых к пунктуации, ещё ожидают настоящего, фундаментального исследования. Но для того, чтобы поставить и обсудить вопрос о наличии у них каких-то общих семантических функций, специальные исследования, мне кажется, не нужны. Стоит только задуматься, и становится ясно, что все эти знаки определённым образом, под определённым углом зрения членят «буквенный поток» именно на значимые части.

Пробел между словоформами позволяет нам «глазами увидеть» отдельные словоформы, «красная строка» — абзацы, точка — предложения как составляющие абзацев, точка с запятой — самые крупные деления многочленных предложений, запятая — более мелкие. Знак «кавычки», как мне представляется, маркирует слова, группы слов, предложения как принадлежащие некоторой другой системе, из которой они идут в данный текст, в котором остаются всё же «не у себя дома». Это может быть цитата из другого текста, — самый простой случай. Но это может быть и «цитата из самого себя», то есть кусочек текста, который пишущий как бы заимствует из собственной непринуждённой или внутренней речи. Кавычки в этом случае означают, что пишущий не считает это выражение прямым, естественным именем вещи, или ситуации, или её фрагмента. А отсюда уже совсем близко и до иронических кавычек, которые предписывают читателю понимать слово в обратном смысле.

Отношения между звуковым языком и письмом — это отношения между двумя разными семиотическими системами. Фундаментальные различия между ними обусловлены не тем, что они имеют разное означающее, адресуются к разным органам восприятия, по-разному физически реализуются и достигают Адресатов в разных формах «продукта». Звуковая речь может по-разному консервироваться и транслироваться на дальние расстояния, не теряя своей природы — с помощью грампластинок и магнитных лент, радио, телефона. Самое существенное во взаимных отношениях этих двух систем заключается в том, что первая семиотическая система, зву-

ковой язык, является означаемым для второй семиотической системы, письма.

Подобно тому, как мы воспринимаем реальный мир сквозь призму родного языка, так же свой язык, его внутреннее строение, его знаки и их сочетания, образующие новые, более сложные знаки, которые вновь вступают в сочетания между собой, мы получаем возможность видеть, воспринимать, делать объектом раздумий и наблюдений благодаря письму.

Письменный текст — это не просто «отражение» звуковой речи, подобное зеркальному отражению или фотографии. Это особого рода «лингвистический препарат». В процессе фонологической, буквенной записи устное звуковое сообщение подвергается особому рода анализу, из континуального, «сплошного», оно становится расчленённым. Тем самым письменный текст оказывается как бы специально подготовленным для лингвистического анализа. Поэтому не случайно, а глубоко закономерно, что лингвисты работают именно с письменными текстами — даже в тех случаях, если они изучают бесписьменные языки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПО КУРСУ «ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ»

Монографии

- Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. — Л.: Наука, 1975.
- Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. — Л.: Наука, 1988.
- Адмони В.Г. Основы теории грамматики. — М.; Л.: Наука, 1964.
- Алпатов В.М. История лингвистических учений. — М.: Языки русской культуры, 1998.
- Антипов Г.А., Донских О.А., Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Текст как явление культуры. — Новосибирск, 1980.
- Апресян Ю.Д. Идеи и методы структурной лингвистики. — М.: Просвещение, 1966.
- Апресян Ю.Д. Избранные труды. — Т. 1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. — М.: Языки русской культуры, 1995.
- Апресян Ю.Д. Избранные труды. — Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. — М.: Языки русской культуры, 1995.
- Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1955.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М.: Прогресс, 1974.
- Блумфилд Л. Язык. — М.: Прогресс, 1968.
- Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по языкознанию. Т. 1, 2. — М., 1963.
- Будагов Р.А. Портреты языковедов XIX-XX вв.: Из истории лингвистических учений. — М.: Наука, 1988.
- Бюлер К. Теория языка. — М., 1993.
- Вандриес Ж. Язык. — М.: Государственное социально-экономическое изд-во, 1937.
- Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. — М.: Русские словари, 1996.
- Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII - XIX веков. — М.: Учпедгиз, 1934.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. Избранные психологические исследования. — М., 1956.
- Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. — М., 1959.
- Гак В.Г. Семантические преобразования. — М., 1998.

- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Книга 1-2. — Тбилиси, 1984.
- Гельб И.Е. Опыт изучения письма (Основы грамматики). — М.: Радуга, 1982.
- Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. — М.: Прогресс, 1984.
- Донских О.А. Происхождение языка как философская проблема. — Новосибирск: Наука, 1984.
- Донских О.А. К истокам языка. — Новосибирск, Наука, 1988.
- Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. Соматические термины (плечевой пояс). — М.: Языки русской культуры, 1996.
- Есперсен О. Философия грамматики. — М., 1958.
- Журавлев В.К. Язык. Языкознание. Языковеды. — М.: Наука, 1991.
- Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1973.
- Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. — М.: Просвещение, 1963.
- Золотова Г.А. Синтаксический словарь. — М., Наука, 1988.
- Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков. — М.: Наука, 1984.
- Истрин В.А. Развитие письма. — М.: Изд-во АН СССР, 1961.
- Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. — М.: Наука, 1988.
- Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык. — СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1996.
- Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. — Л.: Наука, 1972.
- Климов Г.А. Типология языков активного строя. — М.: Наука, 1977.
- Курилович Е.А. Очерки по лингвистике. — М., 1962.
- Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. — М.: Прогресс, 1978.
- Лингвистическая типология. — М.: Наука, 1985.
- Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности. — М.: Наука, 1965.
- Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. — М.: Наука, 1969.
- Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. Принципы диахронической фонологии. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Мейе А. Введение в сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков. — М.; Л.: Соцпедгиз, 1938.

- Мельчук И.А. Курс общей морфологии. Т. 1, 2. — М.: Вена, 1997, 1998.
- Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. — Л.: Наука, 1978.
- Мещанинов И.И. Глагол. — Л.: Наука, 1982.
- Новое в лингвистике. Вып. 1-20.
- Общее языкознание. — М.: Наука, 1970.
- Основы африканского языкознания. Именные категории. — М.: Аспект Пресс, 1997.
- Пауль Г. Принципы истории языка. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. — М., 1968.
- Поливанов Е.Д. Труды по восточному и общему языкознанию. — М., 1991.
- Потебня А.А. Мысль и язык. — Харьков, 1913.
- Пражский лингвистический кружок. — М.: Прогресс, 1967.
- Ревзин И.И. Современная структурная лингвистика. Проблемы и методы. — М.: Наука, 1977.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. — М., 1993.
- Серкина А.А. Опыт дешифровки древнейшего китайского письма. — М., 1973.
- Смирницкий А.И. Объективность существования языка. — М.: Изд-во МГУ, 1954.
- Соссюр Ф. Труды по языкознанию. — М.: Прогресс, 1977.
- Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение японского языка. — М.: Наука, 1987.
- Степанов Г.С. Имена, предикаты, предложения. — М.: Наука, 1981.
- Сущность, развитие и функции языка. — М.: Наука, 1987.
- Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. — М.: Прогресс, 1988.
- Типология императивных конструкций. — Л., 1992.
- Типология итеративных конструкций. — Л., 1989.
- Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. — Л., 1969.
- Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. — Л., 1974.
- Типология результативных конструкций. Результатив, статив, пассив, перфект. — Л., 1983.
- Трубецкой Н. Основы фонологии. — М., 1960.
- Уровни языка и их взаимодействие. — М., 1967.
- Фридрих И. История письма. — М.: Наука, 1979.
- Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. — Л.: Наука, 1979.
- Хомский Н. Язык и мышление. — М., 1972.

- Щерба Л.В. Языковая система и языковая деятельность. — Л., 1974.
- Язык. Система и функционирование. — М.: Наука, 1988.
- Якобсон Р. Избранные труды. — М.: Прогресс, 1985.

Статьи

- Андреев Н.Д., Зиндер Л.Р. О понятии речевого акта, речевой вероятности и языка // Вопросы философии, 1963. — № 1.
- Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа // Новое в лингвистике. Вып. IV. — М.: Прогресс, 1965.
- Вейнрейх У. О семантической структуре языка // Новое в лингвистике. Вып. V. — М.: Прогресс, 1970.
- Горнунг Б.В. О характере языковой структуры // Вопросы языкознания, 1959. — № 1.
- Ельмслев Л. Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. Т. 1. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Зиновьев А.А. Об основах абстрактной теории знаков // Проблемы структурной лингвистики. — М. 1963.
- Климов Г.А. О глоттохронологическом методе датировки распада праязыка // Вопросы языкознания, 1959. — № 2.
- Леонтьев А.А. Теория речевой деятельности и лингвистика (Существует ли лингвистика, ориентированная на теорию речевой деятельности?) // Текст: структура и функционирование. Вып. 2. — Барнаул, 1997.
- Ломтев Т.П. Язык и речь // Вестник МГУ, серия 7, 1961 — № 4.
- Новиков А.И. Текст, его содержание и смысл // Текст: структура и функционирование. Вып. 2. — Барнаул, 1997.
- Трубецкой Н. Мысли об индоевропейской проблеме // Избранные труды по филологии. — М.: Прогресс, 1987.
- Ульманн С. Семантические универсалии // Новое в лингвистике. Вып. V. — М.: Прогресс, 1970.
- Филлмор Ч. Дело о падеже. Дело о падеже открывается вновь // Новое в лингвистике. Вып. X. — М.: Прогресс, 1981.
- Хеннигвальд Г. Существуют ли универсалии языковых изменений? // Новое в лингвистике. Вып. V. — М.: Прогресс, 1970.
- Щерба Л.В. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Известия АН СССР. Отделение общественных наук. — М., 1931.
- Якобсон Р. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. — М., 1972.

Учебники и учебные пособия

- Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. — М., 1979.
 Березин Ф.М. История русского языкознания. — М., 1980.
 Березин В.Ф. История советского языкознания. — М., 1981.
 Будагов Р.А. Введение в науку о языке. — М.: Просвещение, 1965.
 Венцкович Р.М., Шайкевич А.Я. История языкознания. Вып. I-VI. — М., 1974.
 Звегинцев В.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. — Ч. 1-2. — М., 1964-1965.
 История лингвистических учений. Древний мир. — Л., 1980.
 История лингвистических учений. Средневековый Восток. — Л., 1981.
 История лингвистических учений. Средневековая Европа. — Л., 1985.
 История лингвистических учений. Позднее средневековье. — СПб, 1991.
 Общее языкознание. Внутренняя структура языка. — М.: Наука, 1972.
 Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. — М.: Наука, 1973.
 Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М.: Аспект Пресс, 1996.
 Супрун А.Е. Лекции по языкознанию. — Минск, 1971.
 Супрун А.Е. Лекции по языковедению — Минск, 1978.
 Супрун А.Е. Лекции по лингвистике. — Минск, 1980.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЯЗЫК КАК ЯВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
§1. Язык как объект владения	4
Место лингвистики среди других наук	4
Владение языком и знания о языке	9
Предмет, объект и задачи лингвистики.....	10
§2. Язык как первичное знание о мире	12
Лексический фонд как кладовая знаний.....	12
Освоение языка.....	19
Язык — компрессированное знание о мире	21
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ	25
§1. Как наблюдать язык.....	25
§2. Текст как объект анализа.....	30
§3. Текст как источник знания.....	32
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЯЗЫК КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ.....	41
§1. Представление о языке в истории языкознания.....	41
§2. Язык, речь, языковой материал	47
§3. Язык как система знаков	51
Природа и свойства знака	52
Относительная произвольность знака	54
Отношения сторон знака	55
Система знаков.....	62
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЧЬ	
КАК ПРОЦЕСС ОБЩЕНИЯ	67
§1. Простейшая речевая ситуация.....	67
§2. Усложнение речевых ситуаций	72
Разнообразие субъектов общения	72
Разнообразие каналов связи.....	77
Относительное единство языка	83
Целевая функция речи	89
ГЛАВА ПЯТАЯ.	
ПИСЬМО — ВТОРАЯ СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.....	94
§1. Грампластинка и текст (сходства и различия)	94
§2. Письмо в его отношении к звучащей речи	100
§3. Письмо как средство познания языка	
(ретроспективный взгляд)	106
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПО КУРСУ	
«ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ»	122
Монографии	122
Статьи.....	125
Учебники и учебные пособия.....	126
ОГЛАВЛЕНИЕ	127